Жизнь Пушкина

Десять открытий из жизни и творчества Пушкина

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Пушкин – наше всё. Эта чеканная формула поэта и мыслителя Аполлона Григорьева общеизвестна. Чем же нас притягивает таинственная фигура Пушкина? Проходят века, но его роль в нашей жизни не сходит на нет, а становится всё важнее. Великий стихотворец, основоположник современной русской прозы и литературного языка, человек, каждый день жизни которого интересует нас – спустя века. Самые талантливые исследователи веками раскрывали тайны Пушкина. Каждая из них сыграла важную роль в истории нашей культуры. В этой книге собраны 10 ярчайших открытий, связанных с жизнью и творчеством Пушкина. Их совершили исследователи, глубоко постигшие душу великого поэта, его судьбу, его наследие. Это 10 очерков станут для вас ключом к творчеству Пушкину, помогут разгадать его гений.

Книга предназначена для всех, кто неравнодушен к истории русской культуры, к истории Пушкина.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

- 10 открытий из жизни и творчества Пушкина
  -
  - Золотое сечение Пушкина
  - Аполлон Григорьев
    - I
    - II
    - III
    - IV
  - Иван Тургенев
  - Павел Щёголев
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
  - Валерий Брюсов

- I
- II
- III
- IV

- Семен Франк
  -
  - I
  - II
  - III
- Валерий Кирпотин
- Мстислав Цявловский
- Сергей Бонди
- Викентий Вересаев
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
- Михаил Сафонов

10 открытий из жизни и творчества Пушкина

© ООО «Издательство Родина», 2024

Золотое сечение Пушкина

Представить себе Россию без Пушкина невозможно. Слишком много он значит для нашей цивилизации. Начиная с языка, на котором мы говорим и мыслим. Ни об одном русском человеке не написано столько книг и диссертаций. Изучен каждый день из жизни поэта – почти по минутам. Рассмотрена в лупу каждая строчка, включая черновики. Пушкинистика стала образцово-показательной отраслью гуманитарной науки. Пушкина если и пытались ниспровергнуть, «сбросить с парохода современности», то из напускного эпатажа, и серьезных последствий эти попытки не имели. Для каждой эпохи в истории нашей страны Пушкин оказывался необходимым.

«И детства милые виденья…»

Он родился в Москве 26 мая (6 июня) 1799 года, в приходе Богоявленской церкви, что в Елохове. Сейчас там возвышается пятиглавый собор, а тогда это был скромный небольшой храм, где и был крещен сын отставного майора Сергея Пушкина, названный Александром. Мальчиком по крутой лестнице он поднимался на кремлевскую колокольню Ивана Великого и оглядывал московские окрестности, купола и башни, усадьбы и приземистые лачуги. Воображение дорисовывало картины сражений и царских забав, о которых он слышал от воспитателей.

Была у Пушкина не только белокаменная малая родина, но и альма-матер – Царскосельский лицей. Явление удивительное, осуществленная утопия в духе Монтескьё. Лучшие педагоги, изысканные интерьеры и ландшафты, скромные кельи лицеистов – все соответствовало продуманному замыслу. Из этого питомника должны были выйти настоящие сыны просвещения, государственные мужи, достойные великого будущего России.

Н.Тропинин. Портрет Пушкина

Впрочем, учился Пушкин без усердия. В итоговом списке успеваемости занял 26-е из 29 мест. Ему напрочь не давалась математика, да и вообще он не собирался подчинять свою интеллектуальную жизнь требованиям учебной программы. Филолог Николай Кошанский, один из лучших профессоров Лицея, дал своему ученику такую характеристику: «Александр Пушкин больше имеет понятливости, нежели памяти, более имеет вкуса, нежели прилежания». Но главное – он завоевал лавры первого лицейского стихотворца. Его, юнца, высоко ценили маститые поэты – начиная со «старика Державина», который говаривал: «Пушкин уже в Лицее перещеголял всех писателей».

При всех достоинствах Лицея в этом сугубо элитарном, придворном учебном заведении легко было впасть в снобизм по отношению к не столь изящной российской действительности, к людям, которым далеко до царскосельской мерки. Многие не устояли перед таким соблазном. А Пушкин в ампирных лицейских стенах задумал сказочный эпос в простонародном былинном духе – «Руслана и Людмилу». Эта шутливая поэма принесла ему первую славу. Там нет глубин, присущих будущим его сочинениям, но смелый аттракцион картин, смешение фантастики, юмора и лирики – все это захватывало читателя и отпугивало «литературных староверов».

Показателен раздраженный отзыв магистра словесности Андрея Глаголева в «Вестнике Европы»: «Позвольте спросить: если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся… гость

с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться? <…> Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна». И это писал не сановитый старец, а молодой филолог и археолог, знаток греческой трагедии. Между тем именно в этой поэме рождался русский литературный язык, что тонко прочувствовал Василий Жуковский, подаривший Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“». И мужик в армяке для изящной словесности – не помеха. Пушкин и впредь не стеснялся свои ключевые мысли излагать с помощью народных пословиц: одна «Капитанская дочка» чего стоит! Он провозглашал: «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин глубочайших исследований… Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».

Национальный поэт

В начале XIX века русский язык переживал не лучшие времена. Считалось, что он не предназначен для высокой литературы. Русские дворяне, рожденные в 1790—1820-х годах, почти не писали на «языке родных осин», да и говорить, а то и думать предпочитали по-французски. Многие и вовсе превращались в иностранцев – по вкусам и пристрастиям, по духу. Во многом этому поветрию способствовало всеобщее представление о слабости русского искусства и литературы, о безыскусности «домотканого» говора, который, как казалось повесам и вертопрахам, непригоден для остроумной непринужденной беседы. С этой тенденцией неистово боролся адмирал и писатель Александр Шишков, но ему не удалось создать литературной школы. Не хватало словесного изящества, таланта.

Пушкин и сам в юности носил прозвище Француз, которое ему присвоили за любовь к языку Парни и Вольтера. Но он не был бы «сыном гармонии», если бы это увлечение заслонило для него стихию русской речи. Еще в Лицее Пушкин задумал изменить положение вещей, доказать, что и в России литература способна играть заметную роль, влиять на общественные настроения, на вкусы… И он стал нашим первым национальным поэтом,

законодателем мод, который приучил публику к русским стихам. Пушкин создал образцы и для светского остроумия, и для грозных государственных заявлений, и для объяснений в любви. А главное – это был гибкий и выразительный литературный язык, который стоит в основании всей послепушкинской словесности.

Эта миссия оказалась по плечу ему одному. Жуковский самозабвенно служил литературе, но по его элегиям невозможно судить о тогдашней России: не хватает корней и почвы. А Пушкин дал определение всему, что его окружало. Михаил Лермонтов виртуозно владел стихом с юношеских лет, однако стать «солнцем русской поэзии» автор «Демона» не мог. Слишком сумеречен его талант, его образ романтического язвительного изгоя. Лермонтову не хватало жизнелюбия, света!

Да они и не оспаривали пушкинских приоритетов. Для возрождения русской речи Пушкин сделал больше всех. Во многом именно его усилиями с середины XIX века прекратилась повальная галломания нашей аристократии. И о детях Татьяны Лариной уже нельзя было сказать: «Изъяснялися с трудом на языке своем родном». Они стали читателями Пушкина.

Свободный ум

В советское время чрезвычайно актуальной считалась тема «Пушкин и декабристы». Его сочувствие казненным и сосланным участникам тайных обществ совпадало с тогдашней концепцией императорской России как «темного царства». Некоторые пушкинские строки действительно при желании можно счесть пророчеством русской революции:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

При этом «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и другие его стихи «во славу» николаевской империи объявлялись «временным переходом в стан охранителей», чуть ли не помрачением ума. Но загнать Пушкина в рамки некой политической тенденции невозможно. Поэт скептически относился к республиканским новациям, он видел в них новое порабощение, более изощренное, чем у деспотов классической школы. Его не обольщал «парламентаризм» – «слова, слова,

слова… от коих не одна кружится голова». Не являясь строгим поборником какой-либо политической идеи, в переписке с друзьями Пушкин часто подвергал сомнению любые устоявшиеся убеждения – как либеральные, так и консервативные. Его привлекало многообразие, противоречивое и живое, и он стал независимым комментатором своей эпохи, сумев создать в стихах настоящую «энциклопедию русской жизни».

Между тем слухи о нем ходили самые невероятные. И не только в России. Один из тайных агентов министра иностранных дел Австрии Клеменса фон Меттерниха доносил своему шефу после гибели Пушкина: «Он стоял во главе русской молодежи и возбуждал к революционному движению, которое дает себя чувствовать во всех концах мира». Но это – из области ненаучной фантастики.

Как никто из поэтов, Пушкин диалектичен. Это придает его поэзии особую высоту и взвешенность. Он знал парадоксальный норов житейских бурь, помнил «дней минувших анекдоты» и не ставил поспешных оценок ни прошлому, ни настоящему. Пушкин первым в русской литературе вывел на сцену неоднозначных персонажей. Пугачев, Онегин, Германн, Петр Великий, Борис Годунов, даже Дубровский – их не записать ни в положительные, ни в отрицательные герои. Многим памятен вздох царя Бориса: «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» Однако перед этим он произносит не менее важную реплику: «Но презирать не должно ничего», и в этих словах – пушкинское кредо. В мире Пушкина нет ничего инфернального. У каждого своя правда, ни на ком нельзя ставить крест. «Жизни мышья беготня» куда сложнее, чем прямолинейное противостояние черных и светлых сил.

Он писал проще и логичнее, чем предшественники. Избегал головоломных аллегорий, предпочитая «прекрасную ясность» непринужденного разговора, в котором находился повод и для шуток, и для печали, и для экскурсов в прошлое. Таков «Евгений Онегин». Мы подчас воспринимаем «даль свободного романа» как незыблемую классику и забываем, что это программная вещь, с вызовом. Стихи, растворенные в прозе. Аналог – байроновское «Паломничество Чайльд-Гарольда». Но Байрон – демонический скептик, да еще и боец, агрессивный возмутитель спокойствия, а для Пушкина важнее любование самой жизнью в ее повседневных деталях – от шляпы-боливара до брусничной воды. Так романтизм превращается в реализм. Хотя, когда речь идет о поэтах, создавших собственные миры, все эти термины условны…

«Я не хотел бы переменить отечество…»

Пушкин подчас испытывал и гнев, и раздражение, и «русскую хандру», но не пускал эти слабости в стихи и прозу. Он мог рассказать в частном письме Петру Вяземскому в 1826-м: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь». Немного поостыв, в постскриптуме поэт разъяснил природу своего раздражения: «Я теперь во Пскове, и молодой доктор спьяна сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 лет. Незабавно умереть в Опоческом уезде». «Мысли черные» приходили в смятенном состоянии, когда нездоровилось… Но если он всерьез брался за перо – обиды не принимались в расчет. И Пушкин становился мудрецом, далеким от мелочного пессимизма.

Патриотический мотив – один из важнейших в его симфонии. Это искреннее, органическое чувство: он никогда не писал торжественных од в надежде на царскую милость, на золотую табакерку или перстень. Вот и в «Евгении Онегине» речь идет о любви, о соперничестве, о разочарованиях сноба, но неизменно прорывается патриотический контекст:

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

Здесь нет помпезных деклараций, восклицаний – эти строки спаяны твердым чувством, естественным как дыхание.

В пушкинской логике и поэты, и художники, и воины выполняют одну задачу: отстраивают и защищают здание русской культуры. Пушкин сетовал: «Россия слишком мало известна русским». Ситуация изменилась во многом именно стараниями автора «Медного всадника»: Россия проявилась в литературе, на сцене, в музыке, в живописи… Не случайно Пушкин с таким жаром приветствовал появление оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Наследниками Пушкина считали себя и композиторы «Могучей кучки», и художники-передвижники с их русской нотой.

Пушкинский патриотизм сказывался даже в ремарках. В «Борисе Годунове» он называл Григория Отрепьева то Самозванцем, то Лжедимитрием. Но когда Отрепьев останавливает в братоубийственном бою своих разбушевавшихся воинов: «Довольно: щадите русскую кровь» – он становится

Димитрием. Можно ли красноречивее показать систему ценностей, в которой «любовь к родному пепелищу» – основа основ?

Когда Петр Чаадаев в знаменитом «Философическом письме» изложил нигилистическую точку зрения на прошлое России, Пушкин ответил ему пространным посланием. «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. <…> Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?» – вопрошал поэт.

Чтобы понять накал этого вежливого спора, нужно представлять, что значил Чаадаев для Пушкина. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» – это адресовано ему, старшему товарищу, которого Пушкин считал умнейшим человеком в России. Но когда тот замахнулся на историю отечества – поэт не мог смолчать… «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» – вот его непритворный вердикт.

Золотое сечение

Однажды Пушкин провозгласил не без иронии: «Поэзия должна быть глуповата». Он действительно чурался в стихах суховатой рассудительности, которая была свойственна, к примеру, Евгению Баратынскому и Федору Тютчеву. Но добивался не легковесности, а гармонии. Нужно только найти единственно точные слова, чтобы представить сочетание «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Недостижимым в русской литературе остается пушкинское умение благословлять жизнь, писать о счастливой любви, о грусти без отчаяния. Это высшее искусство: «Мне грустно и легко; печаль моя светла». Изображать в стихах трагическую позу, рвать в клочья страсти и жаловаться на горькую судьбину куда привычнее и проще, а Пушкину – единственному – были доступны

светлые, солнечные тона.

В своем «Памятнике» он дерзко мечтал о всенародной посмертной славе. Чтобы «не заросла народная тропа». Когда зимой 1837 года поэт «пал, оклеветанный молвой», мало что свидетельствовало в пользу этого пророчества. Журналист Андрей Краевский нашел для некролога на редкость точные слова: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!..» – чем вызвал негодование министра народного просвещения Сергея Уварова: «Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще!»

Но уже через два десятилетия высокое значение Пушкина для русской культуры никто не оспаривал. А в 1880 году Федор Достоевский произнес слова, к которым присоединилась вся просвещенная Россия, независимо от политических и эстетических пристрастий: «Не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой… наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов».

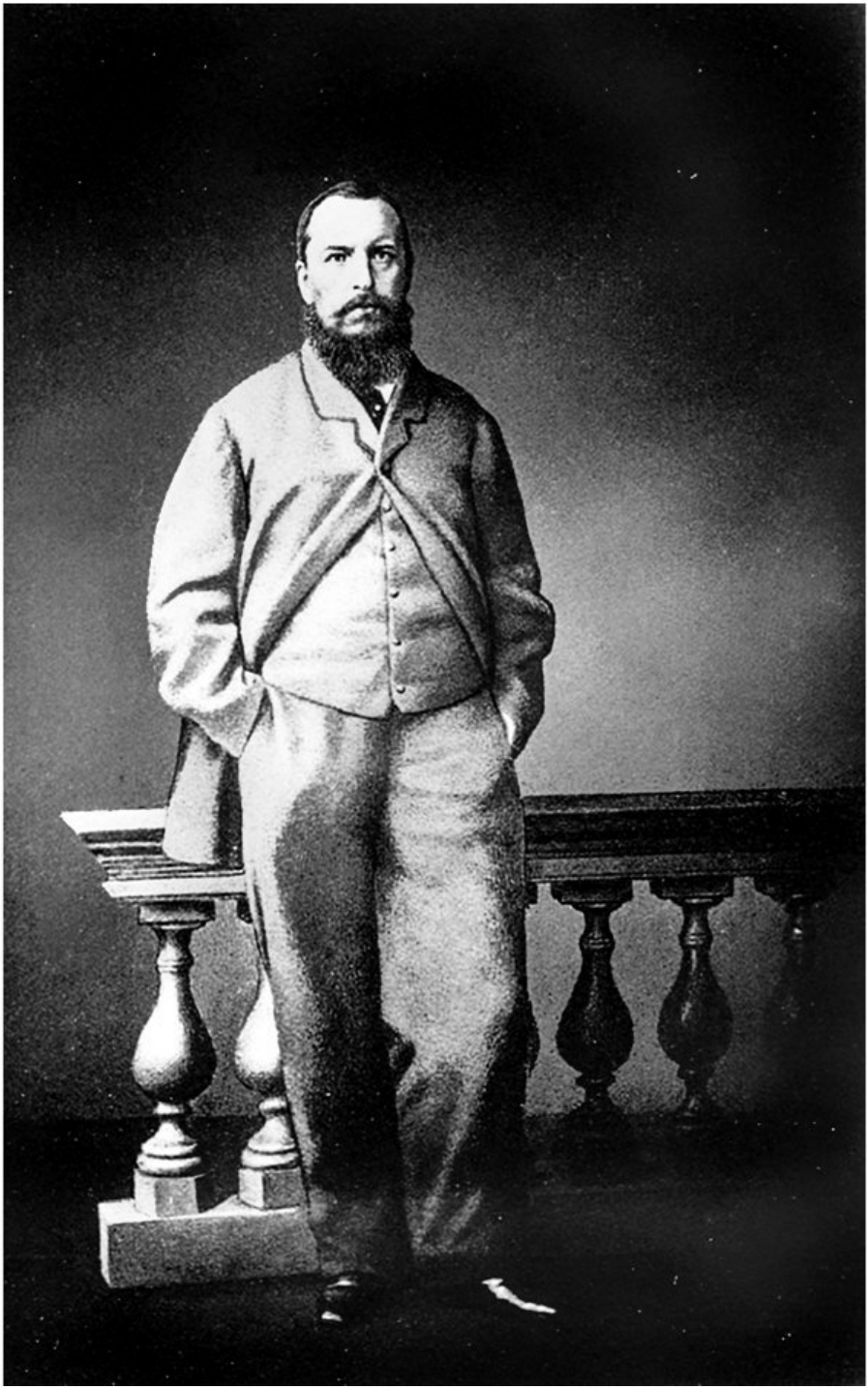
И он и сейчас остается нашим «золотым сечением» и великой тайной, которую всегда будут разгадывать читатели и почитатели. Солнце Пушкина не померкло, время «в детской резвости» не поколебало «памятник нерукотворный». Пушкин на этом пьедестале в одиночестве. Его некем заменить и некого поставить рядом.

Арсений Замостьянов,
заместитель главного редактора журнала «Историк»

Аполлон Григорьев
Пушкин – наше всё

I

В 1834 году в одном из московских журналов, пользовавшемся весьма небольшим успехом, но взамен того отличавшемся серьезностию взгляда и тона, впервые появилось с особенною яркостию имя, которому суждено было долго играть истинно путеводную роль в нашей литературе. В «Молве», издававшейся при «Телескопе» Надеждина, появлялись в течение нескольких месяцев статьи под названием «Литературные мечтания». Эти статьи изумляли невольно своей беспощадной и вместе наивной смелостию, жаром глубокого и внутри души выросшего убеждения, прямым и нецеремонным поставлением вопросов, наконец тою видимой молодостию энергии, которая дорога даже и тогда, когда впадает в ошибки – дорога потому, что самые ошибки ее происходят от пламенного стремления к правде и добру. «Мечтания» так и дышали верою в эти стремления и не щадили никакого кумиро-поклонения, во имя идеалов разбивали простейшим образом всякие авторитеты, не подходившие под мерку идеалов. В них выразилось первое сознательное чувство нашей критики – я говорю чувство, а не взгляд – ибо в них все было чувство. Так как по общему органическому закону мироздания ни одна мысль не является в стройной форме, не пройдя наперед несколько форм, так сказать, допотопных, то и «Литературным мечтаниям» Виссариона Григорьевича Белинского (под ними подписался он еще таким образом: «он… инский». Чембар. 1834 г. дек. 12 дня. Но все молодое поколение знало хорошо имя того, кто так смело и честно высказал то, что жило во всех, носилось в воздухе эпохи) – и «Литературным мечтаниям» – говорю я – предшествовали критические диноферiумы Никодима Надоумки, – смелые, резкие, но неуклюжие и безвкусные выходки против застарелых мыслей… Но какая разница обличалась с первого же раза между деятельностию Белинского и деятельностию Никодима Надоумки! Вся правда и энергия Никодима Аристарховича пропадали даром вследствие семинарского безвкусия тона и положительного отсутствия чувства изящного: все заблуждения и промахи Белинского исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в ярком и истинно поэтическом понимании. И только при таких условиях могло пройти столько истин, и только при таких условиях могло начаться то дело, которого «Литературные мечтания» были первым камнем.



Аполлон Григорьев

«Литературные мечтания» – ни более ни менее как ставили на очную ставку всю русскую литературу со времен реформы

Петра, литературу, в которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже несколько гениев, которую привыкли уже считать за какое-то sacrum2, и разве только подчас какие-нибудь пересмешники повторяли стих старика Вольтера: «sacresilssont, carpersonnen'ytouche». Пересмешников благомыслящие и почтенные люди не слушали, и торжественно раздавались гимны не только Ломоносову и Державину, но даже Хераскову и чуть ли не Николеву; всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством, а гениальность Пушкина надобно было еще отстаивать, а поэзию первых гоголевских созданий почувствовали еще очень немногие, и из этих немногих, во-первых, сам Пушкин, а во-вторых, автор «Литературных мечтаний».

Между тем умственно-общественная ложь была слишком очевидна. Хераскова уже положительно никто не читал, Державина читали немногие, да и то не целиком; читалась «История» Карамзина, но не читались его повести и рассуждения. Сознавать эту ложь внутри души могли многие, но сознательно почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смело высказать всем – мог только призванный человек, и таким-то именно человеком был Виссарион Белинский.

Дело, начатое им в «Литературных мечтаниях», было до того смело и ново, что через много лет потом казалось еще более чем смелым, – дерзким и разрушительным, – всем почтительным потомкам невзыскательных дедов, – что через много лет потом оно вызывало юридические акты в стихах вроде следующих:

Карамзин тобой ужален,
Ломоносов – не поэт!

Но – странным образом – начало этого дела в «Литературных мечтаниях» не возбудило еще ожесточенных криков. До этих криков уже потом додразнил Белинский своих противников, – хотя весь он с его пламенною верою в развитие вылился в своем юношеском произведении, – хотя множество взглядов и мыслей целиком перешли из «Литературных мечтаний» в последующую его деятельность, – и хотя, наконец, – положительно можно сказать, с этой минуты он, в глазах всех нас, тогдашнего молодого племени, стал во главе сознательного или критического движения.

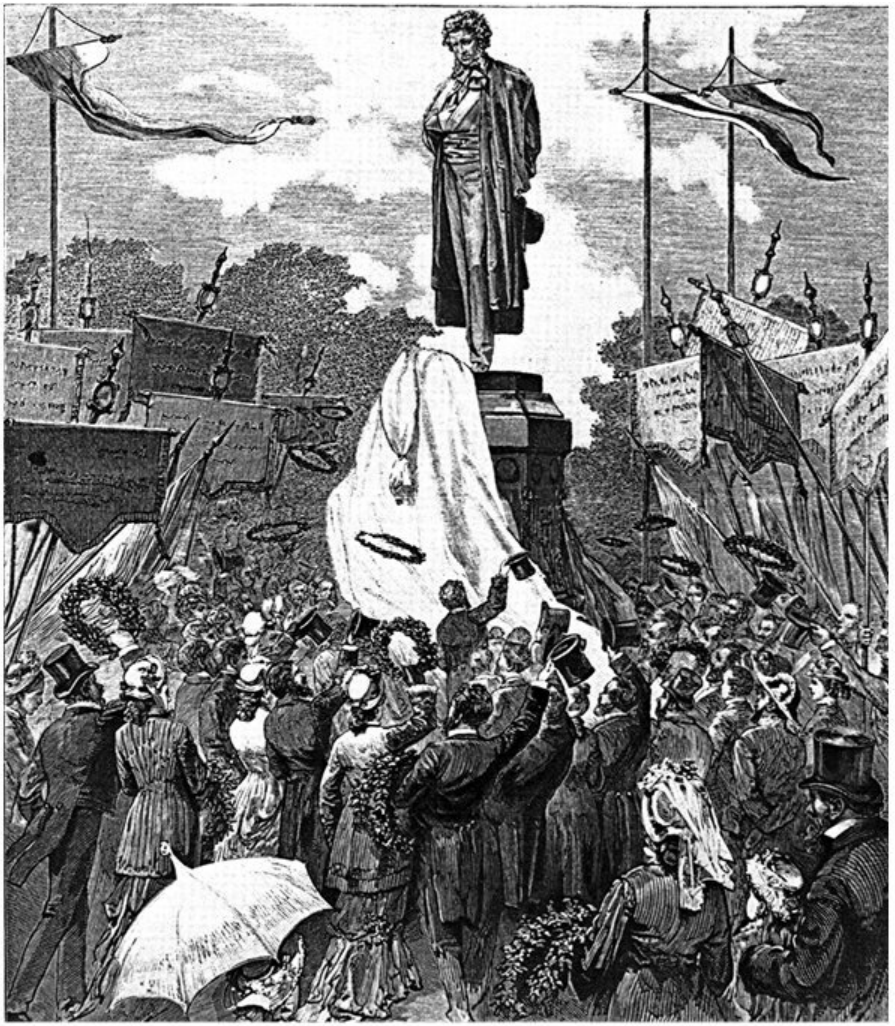
В ту эпоху, которой первым сознанием были «Литературные мечтания», – кроме старых, уже не читаемых, а только воспоминаемых авторитетов, был еще живой авторитет, Пушкин, только что появился почти в печати Грибоедов – и только что

вышли еще «Вечера на хуторе близ Диканьки». В эту эпоху, впрочем, не Пушкин, не Грибоедов и не «Вечера на хуторе» тревожили умы и внушали всеобщий интерес. Публика охладела на время к Пушкину, с жаром читала Марлинского, добродушно принимала за правду и настоящее дело разные исторические романы, появлявшиеся дюжинами в месяц, с тайной тревогою прислушивалась к соблазнительным отголоскам юной французской словесности в рассказах барона Брамбеуса и под рукою почитывала переводные романы Поль де Кока.

Белинский был слишком живая натура, чтобы не увлечься хоть несколько стремлениями окружавшего его мира, и впечатлительность его выразилась в «Литературных мечтаниях» двумя сторонами: негодованием на тогдашнюю деятельность Пушкина и лихорадочным сочувствием к стремлениям молодой французской литературы. Из этих сторон только первая требует пояснения, – вторая в нем не нуждается. Белинский не был бы Белинским, не был бы гениальным критиком, если бы полным сердцем не отозвался на все то, что тревожило поколение, которого он был могущественным голосом. Чтобы идти впереди нашего понимания, он должен был понимать нас, наши сочувствия и вражды, должен был пережить поклонения бальзаковскому Феррагусу и «NotreDame» В. Гюго. Человек гораздо старше его летами и, может быть, пониманием, хотя гораздо слабейший его относительно даровитости, Н.И. Надеждин написал в своей статье «Барон Брамбеус и юная словесность» несколько страниц в защиту этой словесности, в которой он видел необходимую для человечества анатомию; и, без всякого сомнения, подобная защита была и выше и разумнее в свое время пустых насмешек. Не сочувствовать юной словесности имел тогда право, может быть, только Пушкин, ибо в нем одном такое несочувствие было прямое, художнически разумное и чуждое задних мыслей. Его орлиный взгляд видел далеко вперед, так далеко, как мы и теперь еще, может быть, не видим. Остальные, исключая разве того немногочисленного мыслящего кружка, которого представителем был И.В. Киреевский – автор первого философского обозрения нашей словесности, – или лукавили в своем несочувствии, или не сочувствовали потому, что давно потеряли способность чему-либо серьезно и душевно сочувствовать, или, наконец, в основу своего несочувствия клали узенькие моральные сентенции и, что еще хуже, – побуждения вовсе не литературные. А Белинский не был ни уединенным, строго логическим мыслителем, как И.В. Киреевский, ни одним из опекунов нравственности и русского языка, – он был человек борьбы и жизни. Все наши сомнения и надежды выносил он в

своей душе – и оттого-то все мы жадно слушали его вулканическую речь, шли за ним как за путеводителем – в продолжение целого литературного периода, до тех пор, пока… переворот, совершившийся в художественной деятельности Гоголя, не разделил всех мыслящих людей на две литературные партии.

Но об этом речь впереди. Имя Белинского, как плющ, обросло четыре поэтических венца, четыре великих и славных имени, которые мы поставили в заглавии статьи, – сплелось с ними так, что, говоря о них, как об источниках современного литературного движения, постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков! – едва ли даже, за исключением Лессинга, данный не одному Белинскому. И дан этот удел совершенно по праву. Горячего сочувствия при жизни и по смерти стоил тот, кто сам умел горячо и беззаветно сочувствовать. Бесстрашный боец за правду, он не усомнился ни разу отречься от лжи, как только сознавал ее, и гордо отвечал тем, которые упрекали его за изменения взглядов и мыслей, что не изменяет мыслей только тот, кто не дорожит правдой. Кажется даже, он создан был так, что натура его не могла устоять против правды, как бы правда ни противоречила его взгляду, каких бы жертв она ни потребовала. Смело и честно звал он первый гениальным то, что он таковым сознал, и благодаря своему критическому чутью ошибался редко. Так же смело и честно разоблачал он, часто наперекор общему мнению, все, что казалось ему ложным или напыщенным, – заходил иногда за пределы, но в сущности, в основах, никогда не ошибался. У него был ключ к словам его эпохи, и в груди его жила могущественная и вулканическая сила. Теории увлекали его, как и многих, но в нем было всегда нечто высшее теорий, чего нет во многих. У него – теоретики назовут это слабостию, а мы великою силою – никогда не достало бы духу развенчать во имя теории сегодня то, что сознал он великим и прекрасным вчера. Он не мог холодно отвернуться от Гоголя, он не написал бы никогда, что г. N или Z, как про-водители принципов, имеют в нашей литературе значение высшее, чем Пушкин.



Открытие памятника Пушкину в Москве

И между тем Белинский начал свое дело тем, что вместе с толпою горевал об утрате прежнего Пушкина, т. е. Пушкина «Кавказского пленника», первых глав «Онегина» и проч. Как объяснить этот странный факт?.. И прежде всего, не говорит ли этот факт против легкости в перемене взглядов и убеждений, в которой упрекали Белинского его враги? Белинский слишком глубоко воспринял в себя первую, юношескую деятельность Пушкина, слишком крепко сжился с нею, чтобы разом перейти вместе с поэтом в иные, высшие сферы. Он и перешел потом, перешел искренне, но только тогда, когда сжился с этим новым воздухом. Вполне дитя своего века, он не опередил, да и не должен был опережать его. Чем дольше боролся он с новою правдою жизни или искусства, тем сильнее должны были

действовать на поколение, его окружавшее, его обращения к новой правде. Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь стоял бы во главе критического сознания, по той простой причине, что сохранил бы возвышенное свойство своей натуры: неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни…

Есть нечто неотразимо увлекательное в страницах «Литературных мечтаний», посвященных Пушкину: чувство горячей любви бьет из них ключом; наивность непонимания новых сторон поэта идет об руку с глубоким, душою прочувствованным пониманием прежних, и многое, сказанное по поводу этих прежних сторон никогда, может быть, уже так свежо и девственно страстно не скажется!

II

«Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чутьем и удивительною способностию принимать и отражать всевозможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность вековых правил, самою мудростию извлеченных из писаний великих гениев (слова эти – курсивом в оригинале и относятся к тогдашнему поклонению установленным авторитетам), и с удивлением узнавшая о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей до того взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да – Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, – но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении-самоучки, мы всё знаем, ничему не учившись, всё приобрели, веселясь и играя, словом,

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду:

Чтоб в просвещении стать с веком наравне, —

от труда опять к младым играм, сладкому безделью и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только немецко-художественного воспитания (?). Баловень природы, он, шаля и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни… Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами…

Он пел – и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон, носились по воздуху эти звуки, подобные шуму вод или журчанью ручья (курсивом в оригинале).

Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, его „Андрей Шенье“, его могучая беседа с „Морем“, его вещая дума о „Наполеоне“ – поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть „Евгений Онегин“ и „Борис Годунов“. Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.

Пушкин царствовал в литературе десять лет: „Борис Годунов“ был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина; он умер, или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское „быть или не быть“ скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме „Анджело“ и по другим произведениям, обретающимся в „Новоселье“ и „Библиотеке для чтения“, мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска; где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою: где теперь эти картины жизни и природы, пред которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и г. Остолопов!.. Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, которого не могли убить ни исступленные похвалы энтузиастов, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило „Новоселье“ г. Смирдина?.. И однако ж, не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях; предоставим времени решить этот запутанный вопрос. О Пушкине судить не легко. Вы, верно, читали его

„Элегию“ в октябрьской книжке „Библиотеки для чтения“? Вы, верно, были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая „Элегия“, кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.

Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе со своим мрачным Ги-реем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждений; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры, что он скорбел и радовался за свои идеалы, что журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом… Пусть скажут, что это – пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует „Библиотеку для чтения“, чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних…» («Молва», 1834 г., ч. VIII, стр. 397–400).

Сколько размышлений возбуждают эти пылкие юношеские страницы, на которых, повторю опять, глубокое понимание идет об руку со странным непониманием. Не ясно ли, что самое непонимание новых сторон, открывавшихся в Пушкине, было следствием слишком живого проникновения натуры критика прежними его созданиями! Иначе как объяснить, что человек, который равно ценил и лирические и юмористические стороны гения Пушкина – стало быть, и «Цыган», и «Графа Нулина» (а надобно припомнить непристойную статью Никодима Надоумки по поводу «Графа Нулина»!) – не понял «Гусара», напечатанного в «Библиотеке для чтения», не понял стремления Пушкина к Шекспиру, выразившегося в «Анджело»? И между тем, этот юноша, не понявший «Анджело» и «Гусара», верит упорно в Пушкина, видит в нем выражение современного ему мира, «но мира русского», – верит, наконец, в душу поэта, разлитую в его созданиях и тесно с ними соединенную, живущую одною с ними жизнью! Не говорю уже о том, что юноша, ставши мужем, понял и «Анджело», и «Гусара», и «Каменного гостя»!

Все это в 1834 году.

А в 1857 и 1858 годах являются в журналах наших статьи, где то оправдываются отношения Полевого к Пушкину, и Полевой ставится выше по убеждениям, то гг. NN, ZZ приписывается как проводителям принципов больше значения в русской литературе, чем Пушкину, то, поклоняясь произведению, действительно достойному уважения, как «Семейная хроника», вовсе забывают о «Капитанской дочке» и «Дубровском»!.. А в 1859 году является статья, исполненная искренней любви и искреннего поклонения великому поэту, но такой любви, от которой не поздоровится, такого поклонения, которое лишает поэта его великой личности, его пламенных, но обманутых жизнию сочувствий, его высокого общественного значения, которое сводит его на степень кимвала звенящего и меди бряцающей, громкого и равнодушного эха, – сладко поющей птицы! Все это развенчание совершается с наивнейшею любовью, во имя поэтической непосредственности…

Да! вопрос о Пушкине мало подвинулся к своему разрешению со времен «Литературных мечтаний», а без разрешения этого вопроса мы не можем уразуметь настоящего положения нашей литературы. Одни хотят видеть в Пушкине отрешенного художника, веря в какое-то отрешенное, не связанное с жизнию и не жизнию рожденное искусство, другие заставили бы жреца «взять метлу» и служить их условным теориям… Лучшее, что было сказано о Пушкине в последнее время, сказалось в статьях Дружинина, но и Дружинин взглянул на Пушкина только как на нашего эстетического воспитателя.

А Пушкин – наше всё: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, образ, который мы долго еще будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически нашего. Сочувствия ломоносовские, державинские, новиковские, карамзинские, сочувствия старой русской жизни и стремления новой, – все вошло в его полную натуру в той стройной мере, в какой бытие послепотопное является сравнительно с бытием допотопным, в той мере, которая определяется русскою душою. Когда мы говорим здесь о русской сущности, о русской душе, мы разумеем не сущность народную допетровскую, и не сущность

послепетровскую, а органическую целость: мы верим в Русь, какова она есть, какою она оказалась или оказывается после столкновений с другими жизнями, с другими народными организмами, после того, как она, воспринимая в себя различные элементы, – одни брала и берет как родственные, другие отрицала и отрицает как чуждые и враждебные… Пушкин-то и есть наша такая, на первый раз очерком, но полно и цельно обозначившаяся душевная физиономия, физиономия, выделившаяся, вырезавшаяся уже ясно из круга других народных, типовых физиономий, – обособившаяся сознательно именно вследствие того, что уже вступила в круг их. Это – наш самобытный тип, уже мерявшийся с другими, европейскими типами, проходивший сознанием те фазисы развития, которые они проходили, но боровшийся с ними сознанием, но вынесший из этого процесса свою физиологическую, типовую самостоятельность.

Показать, как из всякого брожения выходило в Пушкине цельным это типовое, было бы задачей труда огромного. В великой натуре Пушкина, ничего не исключающей: ни тревожно-романтического начала, ни юмора здравого рассудка, ни страстности, ни северной рефлексии, – в натуре, на все отозвавшейся, но отозвавшейся в меру русской души – заключается оправдание и примирение для всех наших теперешних, по-видимому, столь враждебно раздвоившихся сочувствий.

В настоящую минуту мы видим только раздвоение. Смеясь над нашими недавними сочувствиями, относясь к ним теперь постоянно критически, мы, собственно, смеемся не над ними, а над их напряженностию. И до Пушкина, и после Пушкина мы в сочувствиях и враждах постоянно пересаливали: в нем одном, как нашем единственном цельном гении, заключается правильная, художественно-нравственная мера, мера, уже дознанная, уже окрепшая в различных столкновениях. В его натуре очерками обозначились наши физиономические особенности полно и цельно, хотя еще без красок, и все современное литературное движение есть только наполнение красками рафаэлевски правдивых и изящных очерков.

Пушкин выносил в себе все. Он долго, например, носил в себе в юности мутно-чувственную струю ложного классицизма (эпоха лицейских и первых послелицейских стихотворений); из нее он вышел наивен и чист, да еще с богатым запасом живучих сил для противодействия романтической туманности, от которой ничто не защищало несравненно менее цельный талант Жуковского. Эта мутная струя впоследствии очистилась у него до наивного

пластицизма древности, и, благодаря стройной мере его натуры, ни одна словесность не представит таких чистых и совершенно ваятельных стихотворений, как пушкинские. Но и в этом отношении, как он сам, так и все, что пошло от него по прямой линии (Майков, Фет в их антологических стихотворениях), умели уберечься в границах здравого, ясного смысла и здравого, достойного разумно-нравственного существа, сочувствия. Молодое кипение этой струи отразилось у самого Пушкина в нескольких стихотворениях молодости, отражалось благодаря его наполовину африканской крови, и в последующие эпохи стихотворениями удивительными и пламенными («Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»), которые, однако, он не хотел видеть в печати. Оно обособилось в пламенном Языкове, но и тот искал потом успокоения своему жгучему лиризму или в высших сферах вдохновения, или в созданиях более объективных и спокойных, какова, например, «Сказка о сером волке и Иване царевиче», красоту которой, говоря parparenthèse, мы потеряли способность ценить, избалованные судорожными вдохновениями современных муз. Напряженность же, насильственно подогретое клокотание этой струи – истощило в наши времена талант г. Щербины, и весьма еще недавно вылилось в мутно-сладострастных стихах молодого, только что начинающего поэта, г. Тура; но не следует по злоупотреблениям, противным здравому русскому чувству, умозаключать, что самая струя, в меру взятая, ему противна… Вообще же, не только в мире художественных, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии. Гоголь явился только меркою наших антипатий и живым органом их законности, поэтом чисто отрицательным; симпатий же наших кровных, племенных, жизненных он олицетворить не мог, во-первых, как малоросс, а во-вторых, как уединенный и болезненный аскет.

III

В русской натуре вообще заключается одинаковое, равномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных. Нещадно смеясь над всем, что несообразно с нашей душевной мерой, хотя бы безобразие несообразности явилось даже в том, что мы любим и уважаем (чем мы и отличаемся от других народов, в особенности от немцев, совершенно неспособных к комическому взгляду), мы столь же мало способны к строгой, однообразной чинности, кладущей на все печать уровня внешнего порядка и составной цельности. Любя праздники и целую жизнь проживая иногда в праздношатательстве и кружении, мы не можем мешать дело с бездельем и, делая дело, сладострастно наслаждаться в нем мыслию о приготовлении себе известной порции законного безделья, чем опять-таки мы отличаемся от немцев. Нет! мы все говорим, как один из наших типических героев, грибоедовский Чацкий:

Когда дела – я от веселья прячусь,
Когда дурачиться – дурачусь.
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма охотников – я не из их числа!

Мы можем ничего не делать, но не можем с важностию делать ничего, ilfarniente, как итальянцы. А с другой стороны, мы не можем помириться с вечной суетой и толкотней общественно-будничной жизни, не можем заглушить в ней тревожного голоса своих высших духовных интересов, или впадаем в хандру – и вот почему изо всех произвольно составленных утопий общественных нет для русской души противнее утопии Фурье, хотя нет племени, в котором братство, любовь, незлобие и общение были бы так просты и непосредственны.

Пока эта природа с богатыми стихийными началами и с беспощадным здравым смыслом живет еще сама в себе, т. е. живет бессознательно, без столкновения с другими живыми организмами, – как то было до реформы Петра, – она еще спокойно верит в свою стихийную жизнь, еще не определяет, не разлагает своих стихийных начал, довольствуясь теми формами, в которые свободно уложилось все ее стихийное…

Стольник, например, Лихачев, ездивший от царя Алексея Михайловича править посольство во град Флоренск к Дуку

Фердинандусу, носил в душе крепко сложившиеся, вековые типы, которых он никогда не разлагал, в которых он никогда не сомневался и дальше которых он ничего не видел. Его непосредственное отношение к жизни вовсе ему чуждой так дорого, что нельзя без искреннего умиления читать у него хоть бы вот это: «В Ливорне церковь Греческая во имя Николая Чудотворца и протопоп Афанасий – да в Венеции церковь же Греческая, а больше того от Рима до Кольского острога нигде нет благочестия». Вы нисколько не заподозрите также его искренности, когда он с вершины своих типовых, никогда не разложенных им убеждений рассказывает вам об аудиенции у Дука Фердинандуса {«И Царского Величества здоровье сказано было от посланников Флоренскому князю Фердинандусу в городе Пизе. И князь у посланников принял государеву грамоту и поцеловал ее и начал плакать, а нам говорил через толмача по-итальянски: за что меня, холопа своего, ваш пресловутый во всех государствах и ордах великий Алексей Михайлович… поискал и любительную свою грамоту и поминки прислал? А он великий государь, что небо от земли отстоит, то и он великий государь»… и т. д.}.

Вы понимаете всю неразорванность этого взгляда, всю цельность и известную красоту типа, лежащего в его основании.

Тип этот, наследованный от предков, завещанный предками, ни разу еще не сличал себя с другими жизненно историческими типами. Он есть до того простое и наивное верование, что скажется скорее комическим взглядом на все другие типы, чем сомнением в самом себе и своей исключительной законности, – и, будет ли это Лихачев во Флоренции, Чемоданов в Венеции, Потемкин во Франции, наконец, в эпоху позднейшую, даже Денис Фонвизин в разных иностранных землях, – вы в них верите, вы их понимаете, вы их любите, – разумеется, если вы кровный русский. Вы понимаете, как с незыблемо утвержденных основ своего типа должны они смотреть на все чуждое, что им представляется; вы цените тонкую ловкость Чемоданова, хитро выспрашивающего венециан насчет разных полезных вещей, и не потребуете от него, конечно, чтобы он восхищался фантастическою, мрачно-пестрою, трагически-сладострастною Венециею и приходил в лиризм

С венецианкой молодой,
То говорливой, то немой.
Плывя в таинственной гондоле.

Вы не возмущаетесь тем, что Денису Фонвизину в варшавском театре звуки польского языка кажутся подлыми, и

поражаетесь скорее меткостию и злой правдивостию его замечаний, вроде того, что «рассудка француз не имеет, да иметь его почел бы за величайшее несчастие». Все эти черты старого типа вам понятны, любезны и почтенны. Тип хранится этими людьми так верно, так искренно, что они и понять не могут ничего того, что их типу противоречит. Потемкин во Франции, оскорбленный откупщиком «маршалка де Граммона», хотевшего взять пошлину с окладов святых икон, прямо называет его «врагом креста Христова и псом несытым» – и знать не хочет, что откупщик действует на основании своих прав…

Такова крепость типа в его еще покойном, бессознательном состоянии… Естественно, что в этой цельности и замкнутости он остаться не может при столкновении с другими типами.

Эта же самая природа с богатыми стихийными силами и с беспощадно критическим здравым смыслом – вдруг поставлена, и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда, в столкновение с иною, доселе чуждою ей жизнию, с иными крепко же и притом роскошно и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый раз она, как Фонвизин, отнеслась к этим чуждым ей типам только критически. Но потом происходит неминуемо другой процесс. Тронутые с места, стихийные начала встают как морские волны, поднятые бурею, и начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя, бездонная пропасть. Оказывается, как только старый исключительный тип разложился, что в нас есть сочувствие ко всем идеалам, т. е. существуют стихии для создания многообразных идеалов. Сущность наша, личность, т. е. типовая мера, душевная единица, на время позабывается: действуют только силы страшные, дикие, необузданные. Каждая хочет сделаться центром души – и, пожалуй, могла бы, если бы не было другой, третьей, многих, равно просящих работы, равно зиждительных и, стало быть, равно разрушительных, и если бы в каждой силе не заключалась ее равномерная отрицательная сторона, указывающая неумолимо на все неправильные, смешные – противные типовой душевной мере уклонения.

Способность сил доходить до крайних пределов, соединенная с типовою болезненно критическою отрыжкою, порождает состояние страшной борьбы. В этой борьбе закруживаются неминуемо натуры могущественные, но не гармонические, натуры допотопных образований и часто мрачное fatum уносит и гармонические натуры, попавшие в водоворот.

Наши великие, бывшие доселе, решительно представляются с этой точки могучими заклинателями страшных сил, пробующими во всех возможных направлениях служебную деятельность

стихий, но забывающими порою, что не всегда можно пускать на свободу эти порождения душевной бездны. Стоит только стихии вырваться из центра на периферию, чтобы, по общему закону организмов, она стала обособляться, сосредоточиваться около собственного центра и получила свое отдельное, цельное и реальное бытие…

И тогда – горе заклинателю, который выпустил ее из центра, и это горе неминуемо ждет всякого заклинателя, поскольку он человек… Пушкина скосила отделившаяся от него стихия Алеко; Лермонтова – тот страшный идеал, который сиял пред ним, «как царь немой и гордый» и от мрачной красоты которого самому ему «было страшно и душа тоскою сжималася»; Кольцова – та раздражительная и начинавшая во всем сомневаться стихия, которую тщетно заклинал он своими «Думами». А сколько могучих, но негармонических личностей закруживали стихийные начала: Милонова, Кострова, Радищева в прошлом веке, Полежаева, Мочалова, Варламова на нашей памяти.

Да не скажут, чтобы я здесь играл словами. Стихийное начало вовсе не то, что личность. Личность пушкинская не Алеко и вместе с тем не Иван Петрович Белкин, от лица которого он любил рассказывать свои повести; личность пушкинская – сам Пушкин, заклинатель и властелин многообразных стихий; как личность лермонтовская – не Арбенин и не Печорин, а сам он,

Еще неведомый избранник

и, может быть, по словам Гоголя, «будущий великий живописец русского быта». Прасол Кольцов, умевший ловко вести свои торговые дела, спас бы нам надолго жизнь великого лирика Кольцова, – если б не пожрала его, вырвавшись за пределы, та раздражающая действительностию, недовольная, слишком впечатлительная сила, которую не всегда заклинал он своей возвышенной и трогательной молитвою:

О, гори, лампада,
Ярче пред распятьем…
Тяжелы мне думы.
Сладостна молитва.

В Пушкине, по преимуществу, как в первом цельном очерке русской натуры, очерке, в котором обозначились и объем и границы ее сочувствий, отразилась эта борьба, высказался этот момент нашей духовной жизни, хотя великий муж был и не

рабом, а властелином и заклинателем этого страшного момента.

Поучительна в высокой степени история душевной борьбы Пушкина с различными идеалами, борьбы, из которой он выходит всегда самим собою, особенным типом, совершенно новым. Ибо, что, например, общего между Онегиным и Чайльд-Гарольдом Байрона, что общего между пушкинским и байроновским, или мольеровским французским, или, наконец, испанским Дон Жуаном?.. Это типы совершенно различные, ибо Пушкин, по словам Белинского, был представителем мира русского, человечества русского. Мрачный сплин и язвительный скептицизм Чайльд-Гарольда заменился в лице Онегина хандрою от праздности, тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрее своих идеалов, который наделен критическою способностию здорового русского смысла, т. е. прирожденною, а не приобретенною критической способностию, который – критик, потому что даровит, а не потому, что озлоблен, хотя сам и хочет искать причин своего критического настройства в озлоблении, и которому та же критическая способность может – того и гляди – указать дорогу выйти из ложного и напряженного положения на ровную дорогу.

С другой стороны, Дон Жуан южных легенд, это сладострастное кипение крови, соединенное с демонски скептическим началом, на которое намекает великое создание Мольера и которым до опьянения восторгается немец Гофман, – эти свойства обращаются в создании Пушкина в какую-то беспечную, юную, безграничную жажду наслаждения, в сознательное даровитое чувство красоты, в способность «по узенькой пятке» дорисовать весь образ, способность находить «странную приятность» в «потухшем взоре и помертвелых глазках черноокой Инесы»; тип создается, одним словом, из южной, даже африканской страстности, но смягченной русским тонко критическим чувством, – из чисто русской удали, беспечности, какой-то дерзкой шутки с прожигаемою жизнию, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями, так что чуть впечатление принято душою, душа уже далеко, и только «на снеговой пороше» остался след «не зайки, не горностайки», а Чурилы Пленковича, этого Дон-Жуана мифических времен, порождения нашей народной фантазии.

Взгляните еще на борьбу пушкинской, т. е. идеально русской натуры, с тем типом, в котором на эту схватку с совершенно сложившимся исторически типом, схватку могучих, но еще не уходившихся стихийных начал, в которых идеал, мерка не доросли еще до сознания, а между тем бессознательно сказываются, подают свой голос при всяком лишнем шаге и

невольно их обуздывают.

Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм, —

Эта поучительная для нас борьба – и в гениально юношеском лепете «Кавказского пленника», и в Алеко, и в Гирее (недаром же печальной памяти «Маяк» объявлял героев Пушкина уголовными преступниками!), и в «Онегине», и в ироническом, лихорадочном и вместе сухом тоне «Пиковой дамы», и в отношениях Ивана Петровича Белкина к мрачному Сильвио в повести «Выстрел». На каждой из этих ступеней борьба стоит подробнейшего изучения… Но что везде особенно поразительно, так это постоянная непоследовательность живой и самобытной души, ее упорная непокорность усвояемому ей типу, при постоянной последовательности умственной, последовательности понимания и усвоения типа. Ясно видно, что в типе есть для этой души что-то неотразимо влекущее, и есть вместе с тем что-то такое, чему она постоянно изменяет, что, стало быть, решительно не по ней. Я позволяю себе думать, что глубокое психологическое изучение этих душевных пушкинских отношений внесло бы в наше сознание гораздо больше ясности, чем возгласы о том, что Пушкин и Гоголь, изволите видеть, не сознавали принципов, а г. NN или г. ZZ их сознают и, стало быть, имеют большее для нас значение. Я – и авось-либо не один я – не знаю, да и знать не хочу, какие принципы и какое учение сознавал Пушкин, – а знаю, что для нашей русской натуры он все более и более будет становиться меркою принципов. В нем заключается все наше – все, от отношений, совершенно двойственных, нашего сознания к Петру и его делу – до наших тщетных усилий насильственно создать в себе и утвердить в душе обаятельные призраки и идеалы чужой жизни, до нашей столь же тщетной теперешней борьбы с этими идеалами и столь же тщетных усилий вовсе от них оторваться и заменить их чисто отрицательными и смиренными идеалами. И все истинные, правдивые стремления современной нашей литературы находятся в духовном родстве с пушкинскими стремлениями, от них по прямой линии ведут свое начало. В Пушкине надолго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широким очерком, весь наш душевный процесс – и тайна этого процесса в его следующем, глубоко душевном и благоухающем стихотворении:

Художник-варвар кистью сонной

Картину гения чернит,
И свой рисунок беззаконный
На ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей.
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Этот процесс со всеми нами в отдельности и с нашею общественною жизнию совершался и поныне совершается. Кто не видит могучих произрастаний типового, коренного, народного – того природа обделила зрением и вообще чутьем.

IV

Случайно, или, пожалуй, и не случайно, наше славянское коренное и типовое есть вместе и наиболее удобная подкладка для истинно человеческого, т. е. христианского, но только подкладка, не более. И таковою подкладкой является оно вследствие своих отрицательных качеств, страдательных, с одной стороны, критических – с другой. Благодаря тем и другим, мы не можем долго и насильственно поддерживать в себе поклонения какому бы ни было человеческому типу, какому бы ни было кумиру, из какого бы драгоценного металла или мрамора этот кумир ни был создан и как бы изящно он ни создался, а вместе с тем во всяком типе мы видим и слабые его стороны – и тотчас же относимся к ним комически, как бы дорог тип нам ни был.

В этом-то отношении в цельной натуре Пушкина и в ее борьбе с различными, тревожившими ее и пережитыми ею типами и заключается для нас слово разгадки… Повторяю еще раз – Пушкин все наше перечувствовал (разумеется, только как поэт, в благоухании): от любви к загнанной старине («Родословная моего героя») до сочувствий реформе («Медный всадник»); от наших страстных увлечений эгоистически-обаятельными идеалами до смиренного служения Савелия («Капитанская дочка»); от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления, жажды «матери пустыни», и только смерть помешала ему воплотить наши высшие стремления и весь дух кротости и любви в просветленном образе Тазита, – смерть, которая унесла его столь же преждевременно, как братьев его по духу, таких же набрасывателей многообъемлющего и многосодержащего идеала, Рафаэля Санцио и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все, разметывающееся в ширину, и коренится, как дуб, односторонняя глубина…

Есть натуры, предназначенные на то, чтобы наметить грани процессов, набросать полные и цельные, но одними очерками обозначенные идеалы, и такая-то натура была у Пушкина. Он наше все – не устану повторять я, не устану, во-первых, потому, что находятся в наше время критики, даже историки литературы, которые, без малейшего зазрения совести, объявляют, что Пушкин умер весьма кстати, ибо иначе не стал бы в уровень с современным движением и пережил бы самого себя, во-вторых, потому, что есть мыслители, не подобным критикам и историкам чета, а достойные уважения по честности и серьезности взгляда, которые к Пушкину находятся немного в тех же отношениях, в каких находились пуритане к Шекспиру, и, наконец, потому, что

многие блестящие и проницательные умы, сознавая великое значение в нашей жизни Пушкина, как воспитателя художественного, не обращают внимания на его нравственно-общественное для нас значение, на то, что в нем – крайние, хотя только обрисованные, набросанные определения всех наших сочувствий, что во всей современной литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, что бы в зародыше своем не находилось у Пушкина.

Об этом я буду говорить в свое время и в своем месте… Здесь позволю себе заметить только, что все простые, не преувеличенные юмористически и не идеализированные трагически, отношения литературы к окружающей действительности и к русскому быту – по прямой линии ведут свое начало от взгляда на жизнь Ивана Петровича Белкина.

Тип Ивана Петровича Белкина был почти любимым типом поэта в последнюю эпоху его деятельности. Какое же душевное состояние выразил наш поэт в этом типе, и каково его собственное душевное отношение к этому типу, влезая в кожу, принимая взгляд которого, он рассказывает нам столь многие добродушные истории, между прочим «Летопись села Горюхина» и семейную хронику Гриневых, эту родоначальницу всех теперешних «семейных хроник»?

Помните ли вы, мои читатели, отрывки главы, не вошедшей в поэму об Онегине, и некогда предназначавшейся на то, чтобы привести существование Онегина в многообразные столкновения с русской жизнию и русской землею, как свидетельствуют уцелевшие строфы, – привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разные очные ставки с деятельною, суетливо хлопочущею жизнию?.. Эти отрывки, хотя они и отрывки, но весьма значительны.

Дело объезжать Россию и сталкиваться с различными слоями ее жизни – Пушкин поручил потом не Онегину, а известному «плутоватому человеку» Павлу Ивановичу Чичикову (Гоголь сам говорит, что идея «Мертвых душ» дана ему Пушкиным), но между тем, в этих отрывочных строфах Онегин является для нас с новой стороны, как лицо, которому, несмотря на всю прожитую бурно жизнь, все-таки некуда девать здоровья и жизни:

Зачем, как тульской заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? Ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка…
Чего мне ждать? Тоска, тоска!

Да! тоскою о том, что много еще сил, много здоровья и крепости жизни, – должен кончить Онегин, как отражение известной минуты душевного процесса, но не тоскою одной кончает живая, многообъемлющая натура самого поэта:

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор…
Тьфу! прозаические бредни.
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи, фонтан Бакчисарая,
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум?

Эта выходка поэта – негодование на прозаизм и мелочность окружающей его обстановки, но вместе и невольное сознание того, что этот прозаизм имеет неотъемлемые права над душою, что он в душе остался как отсадок после всего брожения, после всех напряжений, после всех тщетных попыток окамениться в байроновских формах. И тщета этой борьбы с собственною душою, и негодование на то, что после борьбы остался именно такой отсадок, – одинаково знаменательны:

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне, – теперь их нет;
Они прошли иль изменились…
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья…
Другие дни, другие сны!
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор.
На небе серенькие тучи.

Перед гумном соломы кучи.
Да пруд под сенью ив густых.
Раздолье уток молодых…
Теперь мила мне балалайка.
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака;
Мой идеал теперь – хозяйка.
Мои желания – покой.
Да щей горшок, да сам большой…

Поразительна эта простодушнейшая смесь ощущений самых разнородных, негодования и желания набросить на картину колорит самый серый с невольной любовию к картине, с чувством ее особенной, самобытной красоты! Эти строфы – ключ к самому Пушкину и к нашей русской натуре вообще, ключ, гораздо более важный, чем принципы г. NN или г. ZZ… Это чувство есть наше типовое… Оно только что очнулось от тревожно-лихорадочного сна, только что вырвалось из кипящего, страшного омута, оглядывается на Божий свет, встряхивает кудрями, чувствует, что и все вокруг него то же, такое же, как было до сна, и само оно то же, такое же, как было до борьбы с призраками, и юношески недовольно тем, что оно свежо и молодо после всех схваток с подводными чудовищами…

Но, кружась в водовороте этого омута, наше сознание видело такие сны, и образы их так ясно в нем отпечатлелись, что в призрачной борьбе с ними, или, лучше сказать, меряясь с ними, оно ощутило в себе силы необъятные. Как же это оно так молодо, здорово, испытавши столько, и как же, испытавши столько, оно опять видит пред собою прежнюю обстановку?.. Ведь в борьбе, хотя и призрачной {Замечательно, что Марлинский, этот огромный талант допотопной формации, оканчивает свою повесть «Страшное гаданье» мыслию, что призрачный мир, если только он глубоко воспринят душой, оставляет в ней такой же след, как и мир действительный.}, оно узнало само себя, узнало, что не только эту бедную и обыденную обстановку может воспринять и усвоить, но и всякую другую, как бы ни была эта другая сложна, широка и великолепна. Пусть на первый раз оно разъяснило себе себя в чуждой обстановке, т. е. пусть на первый раз мера сил познана в примерке к чужому, для них призрачному, – да силы-то уж себя знают, и знают уже кроме того, что им мала, бедна и узка обыденная обстановка действительности.

А между тем и в самом кружении, в самой борьбе с тенями, силы чувствовали минутами припадки непонятного влечения к

этой самой, по-видимому, столь узкой и скудной, обстановке, к своей собственной почве.

Негодование сил, изведавших уже «добрая и злая», выразившись у Пушкина в вышеприведенных строфах, еще сильней отразилось в стихотворении, которое он сам назвал «капризом»,

Румяный критик мой, насмешник толстопузый…

и от которого пошло в нашей литературе столько стихотворений – и лермонтовских, и огаревских, и некрасовских… Но у Пушкина негодование перешло в серьезную мужскую думу о своих отношениях к миру призрачному и к миру действительному.

В те дни, когда муза, по словам его, услаждала ему

…путь немой
Волшебством тайного рассказа,

когда… но пусть лучше говорит он сам:

Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по брегам Тавриды,
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов.
Хвалебный гимн Отцу миров.

В эти дни молодого и кипучего вдохновения великая натура мерила свои силы со всем великим, что уже она встретила данным и готовым, подвергаясь равномерно влиянию и светлых и темных его сторон. Оказалось, во-первых, что на «вся добрая и злая» – у нее есть удивительная отзывчивость; во-вторых, что эта отзывчивость не может остановиться на среднем пути, а ведет всякое сочувствие до крайних его пределов; и, в-третьих, наконец, что все-таки не может оно перестать любить своего типового, не может не искать его и не может забыть своей почвы… Эта любовь скажется то радостию «заметить разность» между Онегиным и собою, то мечтою о поэме «песен в двадцать пять» с мирным,

семейным характером… мало ли чем, наконец? – записыванием сказок старой няньки или анекдотов о старине!..

Когда поэт в эпоху зрелости самосознания привел для самого себя в очевидность все эти, по-видимому, совершенно противоположные явления, совершавшиеся в его собственной натуре, то прежде всего, правдивый и искренний, он умалил себя, когда-то Гирея, Пленника, Алеко, до образа Ивана Петровича Белкина… Я говорю: умалил себя, а не поставил в надлежащие границы, ибо трудно представить себе действительно Иваном Петровичем Белкиным натуру, которая и прежде мерялась, да и не переставала меряться силами с самыми могучими типами (ибо в то же самое время гений поэта проникал в мрачно-сосредоточенную душу Сальери и в вечно жаждущую жизни натуру Дон Жуана), стало быть, вовсе не сосредоточивалась исключительно в существовании Белкина.

В этом типе узаконивалась, и притом только на время, только отрицательно, критически, чисто типовая сторона. В существование Белкина пошел только критический отсадок борьбы, а отнюдь не вся личность поэта, ибо Пушкин вовсе не думал отрекаться от прежних своих сочувствий или считать их противозаконными, как это готовы делать иногда мы. Белкин для Пушкина вовсе не герой его, – а просто критическая сторона души, ибо иначе откуда взялась бы в душе поэта другая сторона ее, сторона широких и пламенных сочувствий?

Недавно – года два тому назад – один критик, разбирая «Семейную хронику» Аксакова и повергая к ее подножию всю русскую литературу, упрекал Лермонтова в малом уважении его к личности Максима Максимыча. Но мы были бы народ весьма не щедро наделенный природою, если бы героями нашими были Иван Петрович Белкин и Максим Максимыч. Тот и другой вовсе не герои, а только контрасты типов, которых величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным.

Что такое пушкинский Белкин, тот Белкин, который плачется в повестях Тургенева о том, что он вечный Белкин, что он принадлежит к числу «лишних людей», или «куцых», – которому в Писемском смерть хотелось бы – но совершенно тщетно – посмеяться над блестящим и страстным типом, которого хочет не в меру и насильственно поэтизировать Толстой и перед которым даже Петр Ильич драмы Островского «Не так живи, как хочется», – смиряется… по крайней мере до новой масляницы и до новой Груши?

Белкин пушкинский есть простой здравый толк и здравое чувство, кроткое и смиренное, вопиющий законно против злоупотребления нами нашей широкой способности понимать и

чувствовать: стало быть, начало только отрицательное, правое только как отрицательное; ибо предоставьте его самому себе – оно перейдет в застой, мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.

Посмотрите на этот отрицательный тип у Пушкина – везде, где он у него самолично является, или где поэт повествует в его тоне и с его взглядом на жизнь… Запуганный страшным призраком Сильвио, ошеломленный его мрачной сосредоточенностию в одном деле, в одной мстительной мысли, он еще не сомневается в том, что Сильвио может существовать: только в наше время, в повестях Толстого дошел он анализом до предположения, что таких людей, как Сильвио, не бывает. У Пушкина он знает только, что сам он вовсе не Сильвио, и боится этого типа. «Нет уж, – говорит он, – лучше пойду я к людям попроще», и первый опускается в простые и так называемые низшие слои жизни. В «Гробовщике» – зерно всех наших теперешних отношений к этим слоям жизни, а в «Станционном смотрителе» – зерно всей натуральной школы.

Но с этой жизнию попроще, куда он хочет спуститься, он ведь тоже разобщен кой-каким образованием, а, главное, он уже смотрит на нее с высоты этого кой-какого образования.

Комизм положения человека, который считает себя обязанным по своему образованию смотреть как на нечто себе чуждое, на то, с чем у него гораздо более общего, чем с приобретенными им верхушками образованности, – является необыкновенно ярко в лице Белкина, автора «Летописи села Горюхина»… Эта летопись – тончайшая и вместе добродушно-поэтическая насмешка над целою вековою полосою нашего развития, над всею нашею поверхностною образованностию, из которой мы вынесли взгляд, совершенно неприложимый к явлениям окружающей нас действительности… В этом наивном летописце села Горюхина лукаво скрыты и все наши прошлые взгляды на наш быт и нашу старину, выражавшиеся то стихами вроде:

Российские князья, бояре, воеводы,
Пришедшие чрез Дон отыскивать свободы,

то фразами, как, например: «Ярослав приехал господствовать над трупами», или: «отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной», – и, по удивительному поэтическому предвидению, скрыты также все теперешние наши отношения к действительности.

И ведь мало того, что в этом легком очерке, в этих немногих

гениальных страницах – бездна самой беспощадной иронии: в них есть нечто высшее иронии. Откуда в нем, в этом Белкине, который считает обязанностию писать с важностию древних историков о стране, называемой Горюхиным, и живописует вычурным тоном нравы ее обитателей, откуда в нем такое удивительное знание этих нравов и такое любовное и вместе совершенно правильное к ним отношение? О, сказки Арины Родионовны, пробивавшиеся в натуре нашего поэта сквозь все искусственные произрастания, вы хранили такую свежую, чистую струю в душе молодого, воспитанного по-французски барича, что отдаленное потомство помянет вас добрым словом и благословением, забывши разные принципы, сознательным проведением которых гг. NN, ZZ и иные стоят якобы выше Пушкина и Гоголя!

Все наши жилы бились в натуре Пушкина, и, в настоящую минуту, литература наша развивает только его задачи – в особенности же тип и взгляд Белкина. Белкин, который писал в «Капитанской дочке» хронику семейства Гриневых, написал и «хронику семейства Багровых»; Белкин – и у Тургенева и у Писемского, Белкин отчасти и у Толстого, ибо Белкин пушкинский был первым выражением критической стороны нашей души, очнувшейся от сна, в котором грезились ей различные миры.

Но чтобы понять Белкина и оценить его ни выше, ни ниже того, чего он действительно стоит, т. е. чтобы разъяснить себе эту критическую сторону нашей души, – должно попристальнее вглядеться и в тот пестрый сон, в котором душа наша осваивалась с многообразными мирами, перед ней мелькавшими, боролась со многими для нее обаятельными призраками. В отношениях, хотя и напряженных, к этим призракам – сказались, однако, существенные свойства нашей души, ее сочувствия или вражды, широта ее захвата, пределы ее сил: это были пробы ее самостоятельной жизни.

Если бы начать доискиваться, какие принципы руководили Пушкиным в создании лиц Пленника, Гирея, Алеко, Сильвио, Германна, то можно было бы дойти только до обвинения его в том, что герои его – уголовные преступники, или до противоположных нелепостей. Ни к чему иному исканье принципов обыкновенно не приводит, да и привесть не может. Немудрено отыскать принципы в обличительной и полезной литературе, но хотя, с другой стороны, – великие жрецы и не суть жрецы какого-то отвлеченного от жизни, бессеменного и бесплодного искусства.

Позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?

Живое создание не укладывается в тесные рамки, назначаемые принципами, – как и жизнь сама в них не укладывается. Жизнь весьма часто иронически смеется над самыми верными принципами, которыми хотят ее определить. Вдруг порою покажет она нежданно-негаданно такие силы, которые способны создавать новые миры, когда вы думаете, что совершенно вызнали ее ход, что проникли ее тайную думу, когда вы уверены, что она вот так и будет двигаться по предузнанному вами направлению!

Иван Тургенев
Пушкинская речь

Сооружение памятника Пушкину, в котором участвовала, которому сочувствует вся образованная Россия и на празднование которого собралось так много наших лучших людей, представителей земли, правительства, науки, словесности и искусства, – это сооружение представляется нам данью признательной любви общества к одному из самых достойных его членов. Постараемся в немногих чертах определить смысл и значение этой любви.

Пушкин был первым русским художником-поэтом. Художество, принимая это слово в том обширном смысле, который включает в его область и поэзию, – художество как воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию, – составляет одно из коренных свойств человека. Уже предчувствуемое и указанное в самой природе, художество – искусство – является, правда, тоже как подражание, но уже одухотворенное в самой ранней поре народного существования, как нечто отличительно-человеческое. Дикарь каменного периода, начертавший концом кремня на приспособленном обломке кости медвежью или лосиную голову, уже перестал быть дикарем, животным. Но только тогда, когда творческой силою избранников народ достигает сознательно-полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии – он тем самым заявляет свое окончательное право на собственное место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос – он вступает в братство с другими, признавшими его народами. Недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия – Гете, Англия – Шекспира. Мы не думаем отрицать важность других проявлений народной жизни – в сфере религиозной, государственной и др.; но ту особенность, на которую мы сейчас указывали, дает народу его искусство, его поэзия. И этому нечего удивляться: искусство народа – его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше, чем наука, именно потому, что оно – звучащая, человеческая, мыслящая душа, и душа неумирающая, ибо может пережить физическое существование своего тела, своего народа. Что нам осталось от Греции? Ее душа осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают

народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего, вечного; поэзия, искусство, – в силу того, что есть в них личного, живого.

Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником. В поэте, как в полном выразителе народной сути, сливаются два основных ее начала: начало восприимчивости и начало самодеятельности, женское и мужское начало, – осмелились мы бы прибавить. У нас же, русских, позднее других вступивших в круг европейской семьи, оба эти начала получают особую окраску; восприимчивость у нас является двойственною: и на собственную жизнь, и на жизнь других западных народов со всеми ее богатствами – и подчас горькими для нас плодами; а самодеятельность наша получает тоже какую-то особенную, неравномерную, порывистую, иногда зато гениальную силу: ей приходится бороться и с чуждым усложнением и с собственными противоречиями. Вспомните, мм. гг., Петра Великого, натура которого как-то родственна натуре самого Пушкина. Недаром же он питал к нему особенное чувство любовного благоговения! Эта двойственная восприимчивость, о которой мы сейчас говорили, знаменательно отразилась в жизни нашего поэта: сперва рождение в стародворянском барском доме, потом иноземческое воспитание в лицее, влияние тогдашнего общества, проникнутого извне занесенными принципами; Вольтер, Байрон и великая народная война 12-го года; а там удаление в глубь России, погружение в народную жизнь, в народную речь, и знаменитая старушка-няня с ее эпическими рассказами… Что же касается до самодеятельности, то она в Пушкине возбудилась рано и, быстро утратив свой ищущий, неопределенный характер, превратилась в свободное творчество. Ему и восемнадцати лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию «Редеет облаков летучая гряда», воскликнул: «Злодей! как он начал писать!» Батюшков был прав: так еще никто не писал на Руси. Быть может, воскликнув:

«Злодей!», Батюшков смутно предчувствовал, что иные его стихи и обороты будут называться пушкинскими, хотя и явились раньше пушкинских. «Le génieprendsonbienpart outoailletrouve», – гласит французская поговорка. Независимый гений Пушкина скоро – если не считать немногих и незначительных уклонений – освободился и от подражания европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон. Подделываться под народный тон, вообще под народность – так же неуместно и бесплодно, как и подчиняться чуждым авторитетам; лучшим доказательством тому служат, с одной стороны, сказки Пушкина, с другой – «Руслан и Людмила», самые слабые, как известно, изо всех его произведений. С неуместностию подражания чужим

авторитетам согласятся, конечно, все; но, быть может, возразят иные: если поэт в своих трудах не будет постоянно иметь в виду, иметь целью родной народ, он никогда не станет его поэтом: народ, простой народ его читать не будет.

Но, мм. гг., какой же великий поэт читается теми, кого мы называем простым народом? Немецкий простой народ не читает Гете, французский – Мольера, даже английский не читает Шекспира. Их читает – их нация. Всякое искусство есть возведение жизни в идеал: стоящие на почве обычной, ежедневной жизни остаются ниже того уровня. Это вершина, к которой надо приблизиться. И все-таки Гете, Мольер и Шекспир – народные поэты в истинном значении слова, то есть национальные. Позволим себе сравнение: Бетговен, например, или Моцарт, несомненно, национальные немецкие композиторы, и музыка их по преимуществу немецкая музыка; между тем ни в одном из их произведений вы не найдете следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже сходства с нею, именно потому, что эта народная, еще стихийная музыка перешла к ним в плоть и кровь, оживотворила их и потонула в них так же, как и самая теория их искусства, – так же, как исчезают, например, правила грамматики в живом творчестве писателя. В иных, еще более отдаленных от той ежедневной почвы, более в себе замкнутых отраслях искусства самое название «народный» – немыслимо. Есть национальные живописцы: Рафаэль, Рембрандт; народных живописцев нет. Заметим кстати, что выставлять лозунг народности в художестве, поэзии, литературе свойственно только племенам слабым, еще не созревшим или же находящимся в порабощенном, угнетенном состоянии. Поэзия их должна служить другим, конечно, важнейшим целям – сбережению самого их существования. Слава богу, Россия не находится в подобных условиях; она не слаба и не порабощена другому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою самостоятельность; в сознании своей силы она даже любит тех, кто указывает ей на ее недостатки.

Возвратимся к Пушкину. Вопрос: может ли он назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гете и др., мы оставим пока открытым. Но нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением. Из выше сказанных нами слов вы уже могли убедиться, что мы не в состоянии разделять мнения тех, конечно, добросовестных людей, которые утверждают, что настоящего русского литературного языка вовсе не существует; что нам его даст один простой народ вместе с другими спасительными

учреждениями. Мы, напротив, находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник.

Именно: русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений – все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иноземцев, которым он стал доступен. Суждения таких иноземцев бывают драгоценны; их не подкупает патриотическое у влечение. «Ваша поэзия, – сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, – ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу»… «У Пушкина, – прибавлял он, – поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». Тот же Мериме постоянно применял к Пушкину известное изречение: «Propriecommuniadicere», признавая это уменье самобытно говорить общеизвестное – за самую сущность поэзии, той поэзии, в которой примиряются идеальное и реальность. Он также сравнивал Пушкина с древними греками по равномерности формы и содержания образа и предмета, по отсутствию всяких толкований и моральных выводов. Помнится, прочтя однажды «Анчар», он после конечного четверостишия заметил: «Всякий новейший поэт не удержался бы тут от комментариев». Мериме также восхищался способностию Пушкина вступать немедленно inmediasres, «брать быка за рога», как говорят французы, и указывал на его «Дон-Жуана», как на пример такого мастерства.

Да, Пушкин был центральный художник, человек, близко стоящий к самому средоточию русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к «ассимиляции». Это свойство дало ему возможность создать, например, монолог «Скупого рыцаря», под которым с гордостью подписался бы Шекспир. Поразительна также в поэтическом

темпераменте Пушкина эта особенная смесь страстности и спокойствия, или, говоря точнее, эта объективность его дарования, в котором субъективность его личности сказывается лишь одним внутренним жаром и огнем.

Всё так… Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гете, Гомера?

Пушкин не мог всего сделать. Не следует забывать, что ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу. К тому же над ним тоже отяготела та жестокая судьба, которая с такой, почти злорадной, настойчивостью преследует наших избранников. Ему и тридцати семи лет не минуло, когда она его вырвала от нас. Без глубокой грусти, без какого-то тайного, хоть и беспредметного негодования, нельзя читать слова, начертанные им в одном его письме, за несколько месяцев до смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить». Творить! А уже отливалась та глупая пуля, которая должна была положить конец его расцветающему творчеству! Быть может, уже отливалась тогда и та, другая пуля, которая предназначалась на убийство другого поэта, пушкинского наследника, начавшего свое поприще с известного, негодующего стихотворения, внушенного ему гибелью его учителя… Но не будем останавливаться на этих трагических случайностях, тем более трагических, что они случайны. Из этой тьмы возвратимся к свету; возвратимся к поэзии Пушкина.

Здесь не место и не время указывать на отдельные его произведения: другие это сделают лучше нас. Ограничимся замечанием, что Пушкин в своих созданиях оставил нам множество образцов, типов (еще один несомненный признак гениального дарования!), – типов того, что совершилось потом в нашей словесности. Вспомните хоть сцену корчмы из «Бориса Годунова», «Летопись села Горюхина» и т. д. А такие образы, как Пимен, как главные фигуры «Капитанской дочки», не служат ли они доказательством, что и прошедшее жило в нем такою же жизнью, как и настоящее, как и предсознанное им будущее?

А между тем и Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинателей. Он испытал охлаждение к себе современников; последующие поколенья еще более удалились от него, перестали нуждаться в нем, воспитываться на нем, и только в недавнее время снова становится заметным возвращение к его поэзии. Пушкин сам предчувствовал это охлаждение публики. Как известно, он в последние годы своей жизни, в лучшую пору своего

творчества, уже почти ничем не делился с читателями, оставляя в портфеле такие произведения, как «Медный всадник». Он до некоторой степени не мог не чувствовать пренебрежения к публике, которая приучилась видеть в нем какого-то сладкопевца, соловья… Да и как нам винить его, когда вспомнишь, что даже такой умный и проницательный человек, как Баратынский, призванный вместе с другими разбирать бумаги, оставшиеся после смерти Пушкина, не усомнился воскликнуть в одном письме, адресованном тоже к умному приятелю: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин – мыслитель! Можно ли было это ожидать?» Все это Пушкин предчувствовал. Доказательством тому известный сонет («Поэту», 1 июля 1830 г.), который мы просим позволения прочесть перед вами, хотя, конечно, каждый из вас его знает… Но мы не можем противиться искушению украсить этим поэтическим золотом нашу скудную прозаическую речь:

Поэт, не дорожи любовию народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд,
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Пушкин тут, однако, не совсем прав – особенно в отношении к последовавшим поколениям. Не в «суде глупца» и не в «смехе толпы холодной» было дело; причины того охлаждения лежали глубже. Они достаточно известны. Нам приходится только воззвать их в вашей памяти. Они лежали в самой судьбе, в историческом развитии общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в политическую. Возникли нежданные и, при всей неожиданности, законные стремления, небывалые и неотразимые потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать ответа… Не до поэзии, не до художества стало тогда. Одинаково восхищаться

«Мертвыми душами» и «Медным всадником» или «Египетскими ночами» могли только записные словесники, мимо которых побежали сильные, хотя и мутные волны той новой жизни. Миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной, славе – устарелым, его классическое чувство меры и гармонии – холодным анахронизмом. Из беломраморного храма, где поэт являлся жрецом, где, правда, горел огонь… но на алтаре – и сожигал… один фимиам, – люди пошли на шумные торжища, где именно нужна метла… и метла нашлась. Поэт-эхо, по выражению Пушкина, поэт центральный, сам к себе тяготеющий, положительный, как жизнь на покое, – сменился поэтом-глашатаем, центробежным, тяготеющим к другим, отрицательным, как жизнь в движении. Сам главный, первоначальный истолкователь Пушкина, Белинский, сменился другими судьями, мало ценившими поэзию. Мы произнесли имя Белинского – и хотя ничья похвала не должна раздаваться сегодня рядом с похвалою Пушкину, но вы, вероятно, позволите нам почтить сочувственным словом память этого замечательного человека, когда узнаете, что ему выпала судьба скончаться именно в день 26-го мая, в день рождения поэта, который был для него высшим проявлением русского гения! Возвращаемся к развитию нашей мысли. Вслед за скоро прерванным голосом Лермонтова, когда Гоголь стал уже властителем людских дум, зазвучал голос поэта «мести и печали», а за ним пошли другие – и повели за собою нарастающие поколения. Искусство, завоевавшее творениями Пушкина право гражданства, несомненность своего существования, язык, им созданный, – стали служить другим началам, столь же необходимым в общественном устроении. Многие видели и видят до сих пор в этом изменении простой упадок; но мы позволим себе заметить, что падает, рушится только мертвое, неорганическое. Живое изменяется органически – ростом. А Россия растет, не падает. Что подобное развитие – как всякий рост – неизбежно сопряжено с болезнями, мучительными кризисами, с самыми злыми, на первый взгляд безвыходными противоречиями – доказывать, кажется, нечего; нас этому учит не только всеобщая история, но даже история каждой отдельной личности. Сама наука нам: говорит о необходимых болезнях. Но смущаться этим, оплакивать прежнее, все-таки относительное спокойствие, стараться возвратиться к нему – и возвращать к нему других, хотя бы насильно – могут только отжившие или близорукие люди. В эпохи народной жизни, носящие названия переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины – идти вперед, несмотря на трудность и часто грязь

пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом. И десять и пятнадцать лет тому назад – празднество, которое привлекло нас всех сюда, было бы приветствовано как акт справедливости, как дань общественной благодарности; но, быть может, не было бы того чувства единодушия, которое проникает теперь нас всех, без различия звания, занятий и лет. Мы уже указали на тот радостный факт, что молодежь возвращается к чтению, к изучению Пушкина; но мы не должны забывать, что несколько поколений сподряд прошли перед нашими глазами, – поколений, для которых самое имя Пушкина было не что иное, как только имя, в числе других обреченных забвению имен. Не станем, однако, слишком винить эти поколения: мы старались вкратце изобразить, почему это забвение было неизбежно. Но мы не можем также не радоваться этому возврату к поэзии.

Мы радуемся ему особенно потому, что наши юноши возвращаются к ней не как раскаявшиеся люди, которые, разочарованные в своих надеждах, утомленные собственными ошибками, ищут пристанища и успокоения в том, от чего они отвернулись. Мы скорее видим в том возврате симптом хотя некоторого удовлетворения; видим доказательство, что хотя некоторые из тех целей, для которых считалось не только дозволительным, но и обязательным приносить все не идущее к делу в жертву, сжимать всю жизнь в одно русло, – что эти некоторые цели признаются достигнутыми, что будущее сулит достижение других – и ничто уже не помешает поэзии, главным представителем которой является Пушкин, занять свое законное место среди прочих законных проявлений общественной жизни. Была пора, когда изящная литература служила почти единственным выражением этой жизни; потом наступило время, когда она совсем сошла с арены… Прежняя область была слишком широка; вторая сузилась до ничтожества; найдя свои естественные границы, поэзия упрочится навсегда. Под влиянием старого, но не устаревшего учителя – мы твердо этому верим – законы искусства, художнические приемы вступят опять в свою силу и – кто знает? – быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаем его отнять у него.

Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается даже иностранными

филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни. Он первый наконец водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю; и если пыль поднявшейся после него битвы затемнила на время это светлое знамя, то теперь, когда эта пыль начинает опадать, снова засиял в вышине водруженный им победоносный стяг. Сияй же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек! И как о Шекспире было сказано, что всякий, вновь выучившийся грамоте, неизбежно становится его новым чтецом – так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком! Пусть это последнее слово не удивит вас, мм. гг.! В поэзии – освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будем также надеяться, что в недальнем времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин! – и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник – учителю!»

Павел Щёголев
Крепостная любовь Пушкина

I

Из села Михайловского, где Пушкин отбывал годы ссылки (1824–1826), по прекрасной дороге, вдоль озера, рукой подать в имение Петровское. Здесь, в двадцатых годах прошлого столетия, повелевая своими крепостными рабами, хозяйничал и доживал свои дни помещик Петр Абрамович Ганнибал, старший представитель расплодившейся в Псковской губернии с половины XVIII века «Ганнибаловщины». Шел ему восьмой десяток, и был совершенно черен этот потомок абиссинских владык, внук владетельного князя в Северной Абиссинии, имевшего во второй половине XVII века резиденцию на абиссинском плоскогорье Хамассен, на берегах Мареба, в Логоне, и сын арапа Петра Великого, Ибрагима (Абрама), в детском возрасте взятого в аманаты (заложники) ко двору турецкого султана и отсюда выкраденного в арапчата русскому царю. Племянница помещика имения Петровского – Надежда Осиповна Ганнибал – была матерью Пушкина.

С Ганнибалами, родственниками по матери, Пушкин познакомился впервые в июле 1817 года, когда почти сейчас же по окончании обучения в лицее уехал в Михайловское – имение матери. В 1824 году Пушкин, пребывая в Михайловском уже на положении ссыльного, занялся записками своей жизни и 19 ноября вспомнил первое посещение Петровского: «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том, что деревня est le premier (первое. – *Прим. ред.*)…» На оборотной стороне этого клочка, единственного уцелевшего от записок Пушкина, веденных в Михайловском, сохранилось несколько строк о посещении деда Ганнибала в Петровском: «…попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился – и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки – и повторил это раз пять или шесть до обеда. Принесли… кушанья поставили» {Цитирую по подлинному автографу, воспроизведенному Анненковым не совсем полно. Находится ныне в т. н. Майковском собрании в рукописи, отдел, библиотеки Академии наук СССР.}. Анненков дал сочный комментарий к этой записи Пушкина:

Павел Щёголев

«Забавно, что водка, которой старый арап потчевал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оценить ее и как развязно с нею справлялся. Генералот-артиллерии, по свидетельству слуги его Михаила Ивановича Калашникова, которого мы еще знали, занимался на покое перегоном водок и настоек, и занимался без устали, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своей музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, – прибавлял почтенный старик Михаил Иванович, –

когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них выносили на простынях. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев» {П. Анненков, А.С. Пушкин в Александровскую эпоху, 1799–1826, СПб., 1874, стр. 11–12.}.

II

9 августа 1824 года Пушкин прибыл на место своей ссылки – в имение матери, в сельцо Михайловское. Здесь он застал в сборе всю семью – «дражайших» отца и мать, брата Льва, «потешного 19-летнего юнца», сестру Ольгу, «27-летнее небесное создание». Пушкины ютились в старом барском доме, одноэтажном, деревянном, на каменном фундаменте. Устраивал и обставлял дом в половине XVIII века самый грозный из Ганнибалов – прадед Пушкина Осип Абрамович. Крепостное хозяйство Пушкиных было незначительно. Правда, земли было много. При селе Михайловском с рядом деревень, из которых некоторые по временам существовали только по имени (население переводилось в другие), – Касохново, Поршугово, Лаптево, Вороново, Морозово, Махнино, Лежнево, Цыболово, Брюхово, полусельцо Рысцово, – числилось 1965 десятин, в том числе пахотной – 848, под покосом – 216, под лесом – 320, под озерами – 471, под мызою, деревнями, огородами, ручьями и дорогами – 108 {Любопытно, что сам Пушкин, да, очевидно, и другие Пушкины, полагали в Михайловском 700 десятин, и только в 1836 году Павлищев, муж сестры Ольги Сергеевны, выяснил по планам и межевым книгам настоящее количество земли и отписал об этом Пушкину. См. «Переписка Пушкина», т. III, стр. 346, № 1044. Я беру цифры десятин отсюда, опуская сажени.}. И на этом пространстве, кроме господ, обитало дворовых и крестьян по 7-й ревизии 1816 года – мужск. пола 88, женск. пола – 99, а по 8-й ревизии 1833 года – 80 муж. и 100 женск. пола. Господской запашки было 71 десятина. На мужиков нажим был большой: в 1836 году 80 ревизских душ держали 67 тягол – 32 в барщине, 13 в оброке и 22 в подушном. Дворни в 1816 году при барском доме было всего 31 человек, 12 мужчин и 19 женщин, в 1825 году – 13 мужчин и 16 женщин {Цифры ревизии 1816 года – по ревизским сказкам, хранящимся в Псковском губархиве; цифры ревизии 1833 года взяты из описи с. Михайловского, составленной исправником Васюковым по требованию опеки в 1838 году. Число дворни в 1825 году из росписи церкви погоста Воронина, использованной в статье прот. В.Д. Семиречанского «Дворовые и соседи Пушкиных в Михайловском в 1825 г.» в книге «Из псковской старины», I, Псков, 1916, стр. 15–16. Данные о числе душ и размерах поместья, приведенные здесь, явно не точны. Много подробностей о хозяйстве с. Михайловского в письмах Н.И. Павлищева к Пушкину в III томе «Переписки».}. Старые Пушкины были помещиками беспечными и нерадивыми, в

хозяйство они не входили и во всем полагались на лиц, ими поставленных и облеченных доверием. А их доверенные не особенно радели о хозяйском интересе и больше думали о собственном обогащении, чем о пополнении хозяйского сундука. В 1824 году приказчиком или, выражаясь высоким штилем, управляющим был Михайло Иванов Калашников, уже известный нам крепостной гусляр и усладитель досугов Петра Ганнибала, у которого он прошел хорошую крепостную школу и, кроме того, научился самогонному делу. В 1824 году было ему лет за 50, жил он в Михайловском со своей женой Василисой Лазаревной: она была на три года моложе его. У него была большая семья. Сыновья работали и жили на стороне. Только старший Федор в это время (1824–1825 годы) был при нем со своей женой. За Федором шли Василий, Иван, Петр, Гаврила. Была и дочь.

Калашников был особливо доверенным человеком Сергея Львовича Пушкина и семьи Пушкиных. Кроме Калашникова, важным лицом в хозяйственной жизни Михайловского имения была Роза Григорьевна, домоправительница или экономка, поставленная на эту должность матерью Пушкина. Не последняя спица в хозяйственной колеснице была и знаменитая Арина Родионовна, няня Пушкина. Она смотрела за дворовыми девушками, работавшими в барском доме, ткавшими и вышивавшими господские уроки. В старостах во время пребывания Пушкина в Михайловском ходил мужик Архип; через него приводились в подчинение михайловские мужики.

В состоянии крайнего возбуждения, раздраженный и озлобленный, прибыл Пушкин в Михайловское – из шумного города, от моря, от голубого неба полудня – в далекий северный уезд, под пасмурное осеннее небо, в страну докучливого дождя, в глухую деревушку.

… Слезы, муки,
Измена, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг… Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося!

Много лет спустя, в сентябре 1835 года, посетив Михайловское, Пушкин вспомнил, с какими чувствами он прибыл в Михайловское и жил первое время… «Я видел изменника в товарище минутном… всяк предо мной казался мне изменник или враг… был ожесточен… бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледной». {Черновик к «Вновь я посетил», быв. Рум. музей, тетрадь № 2384, л. 40.}

Запутанный клубок чувств обуревал душу Пушкина. Муки ревности, страдания и горести любви, оборванной насильственной рукой, раны самолюбия, глубоко уязвленного, разбитые мечты о свободе, о бегстве за границу – на фоне хмурой реальной псковской действительности выливаются в безмерное чувство скуки. «Бешенство скуки снедает мое нелепое существование», – писал Пушкин княгине В.Ф. Вяземской через два месяца после приезда.

Семейная обстановка, в которую попал Пушкин, совсем не содействовала смягчению настроения, успокоению. «Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось». {Из письма к В.А. Жуковскому от 31 октября 1824 г. См.; Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 10, М., «Наука», 1966, с. 105. (Прим. ред.)} Главная основа семейного раздора Пушкина с отцом коренилась в полной их отчужденности. П.А. Осипова, отлично знавшая семью Пушкиных, верно заметила: «Причина вечных между ними несогласий есть страшная мысль, которая, не знаю от чего, вселилась с обеих сторон в их умах. Сергей Львович думает, и его ничем нельзя разуверить, что сын его не любит, а Александр уверен, что отец к нему равнодушен и будто бы не имеет попечения об его благосостоянии» {«Русский архив» 1872, стр. 2360.}. Так оно и было: отец и сын не любили друг друга и просто были весьма равнодушны друг к другу. В 1824 году действие этой основной причины несогласий было усугублено ссыльным поднадзорным положением Пушкина. Родители Пушкина были крепко испуганы отношением правительства к сыну, они боялись, как бы подозрительное и опасное недружелюбие официальных сфер каким-либо углом не задело их. Сергей Львович, благонадежный дворянин, известный в губернии как по «добронравию», так и по «честности», имел слабость принять от предводителя дворянства поручение смотреть за сыном и давать отчет о его поведении… Понятно, что жизнь в семейном кругу стала в известном смысле адом для Пушкина. «От этого происходит то, что я провожу верхом и в полях все время, что я не в постели». Натянутые отношения привели к грандиозной скандальной сцене между отцом и сыном. Отец громогласно вопил, что сын его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить, а сын готов был просить по начальству о переводе его из Михайловского в одну из крепостей. Дело могло кончиться плохо для Пушкина, но вмешались П.А. Осипова, В.А. Жуковский, и наконец, благоразумие самого Пушкина одержало верх. Семейная склока завершилась полным разрывом отношений отца и сына, и надолго. В сущности, у Пушкина никакого сближения с отцом и не произошло. В начале

ноября двинулся из Михайловского Лев Пушкин, через несколько дней – сестра Ольга; ее отвез в Петербург приказчик Михайло Иванович.

Пушкин перенес на время свою резиденцию в Тригорское к П.А. Осиповой и в Михайловском после отъезда сестры и брата бывал редко. Наконец, 18–19 ноября покинули свое имение и старики Пушкины.

III

Поэт остался один; настало некоторое успокоение его раздраженным нервам. Он возвратился к своим художественным работам, и даже «скука – холодная муза» не помешала расцвету творчества. Жизнь вступала в размеренный круг. Сократились его путешествия в Тригорское, где с нетерпением всегда ждал его женский цветник – сама П.А. Осипова, 43-летняя вдовушка, и девушки, девушки без конца, дочери от первого брака с Вульф – Аннета и Евпраксия, падчерица по второму браку Александра Ивановна, племянницы – Netty (Анна Ивановна, впоследствии по мужу Трувеллер), Анна Петровна Керн. Тригорское и женщины Тригорского прославлены в биографии Пушкина, быть может, в такой мере, какая действительностью не оправдывается. Надо вспомнить трезвое слово Анненкова: «Всех женщин Тригорского Пушкин почтил стихотворными изъяснениями, похвалами, признаниями и проч. Пусть же читатель представит себе деревянный, длинный одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем круглый день от утра до ночи, и все маленькие интриги, всю борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский быт, который он так превосходно изображал потом. Он был теперь светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь, и потешался ею, оставаясь постоянно зрителем и наблюдателем ее, даже и тогда, когда все думали, что он без оглядки плывет вместе с нею… С усталой головой являлся он в Тригорское и оставался там по целым суткам и более, приводя тотчас в движение весь этот мир… Пушкин остается хладнокровным зрителем этих скоропреходящих бурь, спокойно и даже насмешливо отвечает на жалобы их жертв и как ни в чем не бывало погружается в свои занятия, соображения, чтения» {П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, стр. 281–282.}.

А.Пластов. Пушкин в Болдино

Но необходимо здесь же отметить, что первые месяцы пребывания в Михайловском Пушкин удалялся в Тригорское не потому, что его уж так влекло туда, а, пожалуй, единственно по той причине, что уж очень тяжела была ему жизнь на лоне семьи. Он спасался в Тригорское от благонравнейшего родителя, но еще не почувствовал вкуса к тригорским барышням, и его отзывы о них этого времени резки и беспощадны. Так, около 15 октября он писал Вяземской о дочерях П.А. Осиповой, что они довольно дурны во всех отношениях и играют ему Россини; а в начале декабря он доводил до сведения сестры, что ее тригорские приятельницы несносные дуры, кроме матери {Переписка, I, стр. 137, № 99, и стр. 154, № 113.}.

После отъезда родных уединение Пушкина, по его собственному выражению, стало совершенным. Пушкин занял в родительском доме одну комнату, с окном на двор. Вход к нему был прямо из коридора, а в коридор входили через крыльцо. Режим экономии заставил няню Пушкина воздержаться от отапливания остальных комнат дома и между ними большого зала с бильярдом, на котором Пушкин любил играть в два шара. Отапливалась еще одна комната по другую сторону коридора, дверь против двери комнаты Пушкина. Здесь жила сама няня, и здесь же работали на пяльцах крепостные швеи под ее началом.

В позднюю осень и зиму 1824 года день Пушкина складывался так: «До обеда пишу записки, обедаю поздно; после

обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!.. Каждая есть поэма». Почти то же писал Пушкин через месяц. «Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством (Осиповой, в Тригорском); и то вижу его довольно редко – совершенный Онегин – целый день верхом – вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга – и с нею только мне не скучно…» {Переписка, I, стр. 140, № 101, и стр. 154, № 112.}

Но в это время оживляется его переписка, и тон ее меняется. Правда, попадаются еще редкие напоминания о скуке, больше, так сказать, по обязанности ссыльного. Но они оттесняются на задний план энергичными и живыми выражениями чувств. Какой-то новый прилив уверенной бодрости! Ожили вновь литературные интересы. Пушкин засыпает брата, своего постоянного корреспондента и комиссионера, просьбами о книгах, запросами о литературных друзьях. Книги и вещи, о которых писал в это время Пушкин брату, должен был доставить Михайло. Этот михайловский приказчик, отвезший сестру поэта в Петербург, застрял там, был свидетелем знаменитого наводнения, вернулся только в начале декабря и доставил все благополучно. Только библии и перстня не вручил ему Лев Сергеевич. А Пушкин так просил брата прислать перстень. «Грустно без перстня, рискни с Михаилом», но Лев Сергеевич не рискнул.

IV

В зимнем одиночестве нетопленного барского дома внимание Онегина – нет, Пушкина (а ведь с себя писал он Онегина!) – потянулось через коридор в комнату няни, к пяльцам, над которыми мелькали руки крепостных подданных, и избрало одну из дворовых девушек. Она показалась Онегину, – т. е. Пушкину (а Онегин был соблазнителем!), – доброй, милой, очень милой, она понравилась Пушкину. Но ведь она была крестьянка. Что ж? Не все ли равно? 8 декабря Пушкин писал приятелю Родзянке, очень плохому поэту, трудившемуся над романтической поэмой «Чуп»: «… Поговорим о поэзии, т. е. о твоей. Что твоя романтическая поэма „Чуп“? Злодей! не мешай мне в моем ремесле – пиши сатиры хоть на меня, не перебивай мне мою романтическую лавочку. Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся, про чухонку), и эта чухонка, говорят, чудо как мила – А я про Цыганку; каков? Подавай же нам скорее свою Чупку – ай да Парнасе! ай да героини! ай да честная компания! Воображаю, Аполлон, смотря на них, закричит: зачем ведете мне не ту? А какую же тебе надобно, проклятый Феб? гречанку? итальянку? Чем их хуже чухонка или цыганка (…) одна – (…)! оживи лучом вдохновения и славы» {Переписка, I, стр. 157, № 114.}.

Так вот Пушкин и оживил лучом вдохновения и славы милую и добрую крестьянскую девушку, склонившуюся над пяльцами. Лицейский друг Пушкина Пущин навестил ссыльного поэта в Михайловском в январе 1825 года и подметил увлечение Пушкина. После первых восторгов радостной встречи друзья обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть. Пущин вспоминает: «Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным его исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понято без всяких слов. Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей (человек Пущина) хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за „нее“. Незаметно полетела в потолок и другая пробка. Попотчевали

искрометным няню, а всех других хозяйской наливкой. Все домашние несколько развеселились, кругом нас стало пошумней, праздновали наше свидание» {И.И. Пущин, Записки о Пушкине, ред. С.Я. Штрайха, М., 1927, стр. 127.}.

Кроме этого свидетельства Пущина о начальной стадии крестьянского романа, мы располагаем еще одним, относящимся уже к заключительной стадии и идущим от самого Пушкина. Роман завершился или был прерван (не знаю, что вернее) беременностью девушки, и Пушкину пришлось принять меры. В начале мая 1826 года Пушкин отправил подругу к князю Вяземскому, другу и приятелю, со следующим письмом: «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чем написать, целое послание во вкусе Жуковского о попе; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах {Намек на послание Жуковского о попе непонятен. Такое послание нам неизвестно. Ср. Письма Пушкина, ред. Модзалевского, т. II, стр. 153.}. При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню, хотя бы в Остафьево {Остафьево – имение князя Вяземского.}. Милый мой, мне совестно ей-богу… но тут уж не до совести!»

Ответ Вяземского на это письмо последовал 10 мая, но он разошелся с новым письмом Пушкина к Вяземскому, письмом, в котором поэт спрашивал приятеля: «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?» Стоит привести и заключительные строки письма Пушкина, которые дают поучительный материал для своевременных размышлений: «Правда ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум. Законная… род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, – исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу…»

Вяземский оказался еще рассудительнее Пушкина. Он ответил: «Сей час получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено оно мне твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее сделать этого нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при

семействе своем. Мой совет – написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею божиею ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или дурном исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего Бахчисарайского фонтана, но страх завязать новую классико-романтическую распрю, хотя бы с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова, но оно не исполнительно и не удовлетворительно {Отец «Эды» был крестьянином родителей Пушкина и по наследству мог перейти в крепость к Пушкину. На это и намекает Вяземский. А беременная «Эда» принадлежала тоже отцу Пушкина, вернее матери. Певец Буянова – Василий Львович Пушкин. В это время В.Л. и С.Л. были совладельцами Болдина.}. Другого делать, кажется, нечего, как то, что я сказал, а во всяком случае мне остановить девушки (oupeus'enfaut) нет возможности».

Пушкин внял советам друга. 27 мая он писал Вяземскому из Пскова: «Ты прав, любимец муз, – воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело. Должен ли я тебе что-нибудь или нет? Отвечай. Не взял ли с тебя чего-нибудь мой человек, которого я отослал от себя за дурной тон и за дурное поведение?» {Сообщения о беременной девушке в «Переписке», I, стр. 345, № 251; 346, № 253; 349, № 255; 351, № 257. На подлинном письме Пушкина, содержащем первое известие, Вяземский надписал: «Не печатать».}

Этими свидетельствами и исчерпываются все наши сведения о крестьянском романе Пушкина. К ним, пожалуй, нужно прибавить еще одно, правда, внушающее мне некоторое недоверие по соображениям хронологическим, упоминание, сделанное И.П. Липранди. Он передает слова Льва Пушкина, приурочивая их к 1826 году: «Лев Сергеевич сказал мне, что брат связался в деревне с кем-то и обращается с предметом – уже не стихами, а практической прозой». {«Русский архив» 1866, стр. 1488–1489. Полемизируя со мной, Вересаев утверждает: «Хронологически свидетельство Липранди говорит как бы против гипотезы Щеголева, а потому Щеголев устраняет его» («Печать и революция» 1928, кн. 3). Во-первых, свидетельство Липранди вовсе не говорит против моей гипотезы, а, наоборот, подкрепляет; во-вторых, я не пользуюсь им из осторожности, потому что оно заключает неприемлемые хронологические даты. Беседы с семьей Пушкиных, передаваемые в записях Липранди, относятся к

первой половине 1826 г. Вересаев пишет, что в апреле 1826 г. Липранди был по делам службы в Петербурге, но если бы Вересаев гнался за точностью своих утверждений он бы этого не написал. «В апреле 1826 г. я приехал в Петербург», пишет сам Липранди – и только. Но почему же Вересаев полагает, что это путешествие было по «делам службы»? На самом деле и Липранди запамятовал довольно крупный факт своей жизни. Он был арестован по оговору одного из декабристов Комарова, привезен в С.-Петербург и содержался здесь на главной гауптвахте с 1 февраля по 19 февраля, когда был освобожден с аттестатом, а 11 мая ему было пожаловано за эту неприятность 2000 руб. (Центрархив, Восстание декабристов, т. VIII. Алфавит декабристов, под ред. Б.Л. Модзалевского и А.А. Сиверса, стр. 343). Из Петербурга Липранди, по его словам, должен был по поручению графа Воронцова внезапно уехать в Аккерман для некоторых приготовлений к имевшемуся быть там конгрессу. Русско-турецкие переговоры в Аккермане под руководством графа Воронцова и графа Рибопьера, открылись 1(13) июля 1826 года (Н.К. Шильдер, Имп. Николай I, его жизнь и царствование, т. I, СПб., 1903, стр. 415). Соображая цель поездки – для некоторых приготовлений – и огромное расстояние до Аккермана, надо относить отъезд Липранди на начало июня. Таким образом определяются точно даты того периода, в который происходили беседы Липранди с Пушкиным. Но содержание бесед не соответствует хронологическим датам. Старик Пушкин рассказывал Липранди о том, что Бенкендорф сделал Льву Пушкину предложение вступить юнкером в формировавшийся тогда дивизион жандармов. Лев как будто сдавался, а старик и слышать не хотел, а затем внимание старика обратили на то, что отказ Льва может оскорбить Бенкендорфа и послужить препятствием к облегчению участи Александра Сергеевича. Липранди вспоминает, как все в семье Пушкиных были обрадованы согласием Льва и как дней через десять пришел к нему Лев уже в военной форме.

Но хронология такова. 25 июня 1826 г. состоялся приказ, назначавший ген. – ад. Бенкендорфа шефом жандармов и командующим императорской квартирой, а 3 июля последовал указ, которым упразднялась особенная канцелярия министерства внутренних дел и учреждалось Третье отделение собств. е. в. канцелярии (Там же, стр. 464–465). Если бы и были какие-либо предложения со стороны Бенкендорфа Льву Пушкину по жандармской части, то Липранди не мог бы быть их свидетелем. И уже совсем не могло быть в указанный хронологический период появления Льва Сергеевича у Липранди в военной форме, так как

Лев Пушкин состоял на гражданской службе до 24 октября 1826 года, когда и был уволен в отставку, а в военную он вступил 14 марта 1827 года юнкером в Нижегородский драгунский полк. Для Вересаева Липранди – свидетель чрезвычайно достоверный, и у него нет никакого основания заподазривать правдивость его сообщений, а к критическим разысканиям он не склонен и не способен, а на поверку выходит: не всякому слуху верь, если даже он идет от Липранди…}

V

Но почему я думаю, что в рассказе Пущина от января 1825 года и в переписке Пушкина с Вяземским от мая 1826 года идет речь об одной и той же девушке? Быть может, Пущин видел одну девушку, а к Вяземскому Пушкин отсылал другую? Быть может, надо с места говорить о двух крепостных романах? Такие вопросы могут быть поставлены с полным основанием. Они и были предложены В.В. Вересаевым сначала в заседании Пушкинской комиссии Общества Любителей Российской Словесности, где я докладывал свою работу, а затем в печати {«Печать и революция» 1928, кн. 3: «Заметки о Пушкине. Крепостной роман Пушкина». Сравни мой ответ там же, кн. 5–6, 32–33.}. В моем построении это место уязвимое. Математических доказательств единства лица у меня нет, но соображения порядка психологического я могу выставить. Мое мнение опирается на общее представление о личности Пушкина: разные стороны жизни Пушкина и с разных точек зрения освещены в многочисленнейших свидетельствах современников, его друзей, врагов, родственников, но на основании изучения всего этого материала я могу достоверно утверждать, что я не знаю за ним одной славы – славы профессионального растлителя дворовых девок. Если девушка в рассказе Пущина одна, а в переписке Пушкина с Вяземским – другая, то уж, конечно, Пушкин был крепостным развратником – что ни год, то новая девка – и такая худая слава не лежала бы, а облетала окрестные деревни, сохранилась бы в памяти современников, и уж Вульф-то, обильно практиковавший право первой ночи в своих крепостных доменах, не преминул бы изложить и пушкинские подобные случаи, а даже у этого специалиста по крепостной клубничке таких указаний нет, но их вообще нет. Общее же представление Вересаева о Пушкине в любовном быту иное. У него навязчивая идея о цинизме Пушкина; не обнаруживая большой проницательности и разнообразия, Вересаев и нас хочет уверить в том, что едва ли не самой отличительной, во всяком случае не редкой чертой отношений Пушкина к женщинам был исключительный цинизм. Правда, утверждения Вересаева о цинизме Пушкина, в конце концов, аргументированы не обстоятельно, но при наличности такого воззрения на природу любовной стихии Пушкина наши соображения о неприемлемости двух крепостных романов, конечно, не имеют для него силы. Тут расхождение в основных взглядах.

Вересаев пытается основать свою точку зрения и обращается

к анализу источников; его интерпретация рассказа Пущина отличается критической беспомощностью, но поражает неожиданностью {Толкование рассказу Пущина Вересаев дал впервые в своей статье «Об автобиографичности Пушкина» в журнале «Печать и революция» 1925, кн. 5–6.}. В общем же может служить показательной: именно так интерпретировать не годится. Приходится поэтому вернуться к рассказу Пущина. По доброму филологическому обычаю не худо начать с контекста. Берем рассказ о посещении няниной комнаты, которая служила и девичьей: всего-то в доме отапливались две комнаты, отделенные коридором одна от другой, самого Александра Сергеевича и няни. С утра, с момента приезда Пущина, поэт и его друг-гость вели беседу о прошлом, о настоящем, о политическом положении. В глазах Пущина Пушкин вырос, он был признанным врагом правительства, политическим ссыльным. «Вообще, Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя однако ж ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление», – пишет Пущин. Разговор зашел о тайном обществе, Пущин признался Пушкину в своей принадлежности к нему. Пушкин разволновался. «Я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, – по многим моим глупостям», – сказал Пушкин другу. «Молча, я крепко расцеловал его, – вспоминает Пущин, – мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть». Непосредственно за этой фразой идет интересующее нас место: «Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понято без всяких слов».

Все просто и ясно в этом рассказе. Вошли в девичью, и Пущин сразу приметил одну фигурку среди крепостных швей: уж очень резко отличалась она от других… чем? да своею внешностью, своим милым видом, своею привлекательностью! Пущин, сам большой ходок по женской части, сразу остановил свое внимание на крепостной девице – такую трудно пропустить, – посмотрел на нее, вспомнил любовные шалости в дни общей юности, прелесть-польку Анжелику, и заключение сразу созрело: тут не без любовного приключения – такую трудно пропустить. Но задать

вопроса не решился. Сознавая исключительность положения Пушкина, проникнувшись чувством уважения к этому новому для него Пушкину, Пущин после беседы о важных материях счел неделикатным и нетактичным повернуть разговор на шалости любви. Он посмотрел на Пушкина и увидал, что Пушкин прозрел его шаловливую мысль и улыбнулся. Пущин поймал Пушкина: он удостоверился, что тут любовная игра. Все было понято без слов. Вот весь ясный смысл рассказа Пущина.

Но что сделал Вересаев с этим тонким и прелестным воспоминанием о сцене без слов в девичьей барского дома сельца Михайловского? Он опрокинул на голову все вещи в своем толковании. Вот оно, неожиданное и поразительное своей свежей наивностью:

«В толковании Щеголева остается совершенно непонятным, – чем привлекла к себе внимание Пущина „фигурка“ одной из швей? Почему привлекла внимание именно фигурка, а не лицо? Какие „заключения“ делает Пущин, глядя на девушку, почему боится „оскорбить“ Пушкина своею догадкою? Что такое было понято без всяких слов? Ясно, что девушка была беременна. Замужние женщины обычно уже не работали с дворовыми девушками, – и вполне естественна была его догадка. И он взглядом спросил Пушкина: „что, брат, твое дело? “ И Пушкин в ответ улыбнулся значительно: „мое! “ Дело происходило 11 января 1825 года. Пушкин прибыл в Михайловское 9 августа 1824 года. Максимальный срок – пять месяцев. А как раз для „легкого“, „физиологического“ сближения много времени не требовалось, особенно для такого мастера в любовных делах, каким был Пушкин».

«При своем внимании – как представляет себе Щеголев в подробностях сцену, описываемую Пущиным? Фигурка девушки привлекла к себе внимание Пущина – чем? Своей необычайной красотою, изяществом? Какова была „шаловливая мысль“ Пущина, которую прозрел Пушкин? Неужели такая: „надеюсь, ты такой красотки не пропускаешь своим вниманием“? И Пушкин ему в ответ: „дурака нашел! Конечно, не пропускаю! “ Неужели это соответствует стилю отношений между Пущиным и Пушкиным при встрече их в Михайловском?»

Вот это называется, озарило! Ну, вопросы, направленные по моему адресу и повергающие Вересаева в недоумение, можно отставить; в моем объяснении отрывка Пущина даны простые и исчерпывающие ответы, построенные исключительно на правильном чтении и толковании текста. Попробую теперь подойти к существу открытия Вересаева и воспользуюсь соображениями вне текста, так сказать, со стороны. Итак,

девушка была беременна, что Пущин сразу и заметил. Молодая команда, среди которой важно прогуливались няня с чулком, была немногочисленна. Дворовых девушек в сельце Михайловском было немного; если всех-то девиц сосчитать, пользуясь ревизскими сказками VII ревизии 1816 года, так их наберется в 1824–1925 годах в возрасте от 10 до 30 лет 8 человек:

Агафья, Анны Ивановой дочь, 21 года, да Аграфена, Михаилы Григорьева, 19 лет, да Дарья, вдовы Степаниды Петровой, – 27 лет, да Василиса, племянница вдовы Ульяны Григорьевой, – 27 лет, да Ольга, дочь Ивана Максимова, – 14 лет, да другая Ольга, Михаилы Иванова, 19 лет, да девчонки по 11 году – Катерина, Егора Федорова дочь, и сестра Дарьи – Анна. Может быть, еще прибавить двух-трех. Вот и вся команда. Пущин, как вошел, так тотчас, так тотчас и заметил беременную девушку. Если никогда не видал ее раньше и тотчас заметил, значит внешние признаки бросались в глаза, живот выдавался даже под крестьянским сарафаном, как известно, форм не облегавшим, а скрывавшим их. На каком же месяце Пущин застиг беременную девушку? Вересаев правильно приводит даты приезда Пушкина в Михайловское 9 августа 1824 года и посещения Пущина 11 января 1825 года, и устанавливает пятимесячный срок беременности для девушки, исходя, очевидно, из непреклонного убеждения, что первым делом Пушкина по прибытии в Михайловские сени было растление крепостной девицы. Как это, однако, соответствует психическому состоянию, в котором пребывал Пушкин в первые дни жизни в Михайловском!

…слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг… Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося!..

Но пусть точка в точку пять месяцев, если этого желает пушкинист Вересаев! Но врач Вересаев сочтет ли возможным утверждать, что не акушер, не медик, а просто молодой человек, вроде Пущина, может сразу по первому взгляду опознать беременность пяти месяцев, да еще женщины, рожающей в первый раз, да еще в таких условиях, в каких находился Пущин? Нет, пятимесячная беременность не может быть опознана не специалистом – этот решительный ответ я получил от целого ряда практиков-гинекологов. А если отойти от максимализма Вересаева и считать, что Пушкин и не сразу, и не в первые дни по приезде занялся любовными делами с крестьянской девой, то

тогда Вересаеву пришлось бы исчислять беременность не пяти, а всего лишь на пятом месяце, а в это время только по внешним признакам, без осмотра, не разберется и акушер. А раз это так, раз врач побивает пушкиниста, то аннулируется и открытие Вересаева, исключается всякая возможность иного толкования рассказа Пущина, кроме простого и ясного. А затем надо сказать начистоту. Помещичий уклад нам известен: ежели бы беременность крепостной девки бросалась сразу в глаза, как она бросилась Пущину – Вересаеву, то эта «тяжелая» девушка уже не сидела бы среди дворовых швей и не кидалась бы в глаза своим «срамом». Этот срам уже был бы покрыт так, как он был покрыт в 1826 году. Толкование Вересаева просто вздорно, но, однажды вздернув себя на дыбы, он продолжает оставаться в сем неудобном положении.

Столь же натянуто и объяснение, предложенное Вересаевым дальнейшим строкам рассказа Пущина: «Настало время обеда. Алексей (человек Пущина) хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за „нее“. Незаметно полетела в потолок и другая пробка. Попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйской наливкой. Все домашние несколько развеселились». Надо перечесть эти строки непредубежденно и просто. Все просто и ясно, содержание этих строк не вызывает сомнений и не требует комментарий. Все было так, как описывал Пу-щин. Обедали – не в девичьей, конечно; за столом были только друзья – Пущин и Пушкин; за обедом хлопотала и суетилась няня. Служил человек Пущина – Алексей. Открыли бутылку, – одну, другую шампанского, выпили за Русь (тост принципиальный – за Русь; он включал тост и за свободу), за лицей, друзей и за «нее». Все было понято без слов, так же, как раньше при встрече в девичьей. За «нее» – героиню любовного приключения! За стольких героинь пили раньше друзья. Няню угостили тут же шампанским и послали – то ли няню, то ли Алексея – в девичью, потчевать девушек хозяйской наливкой. Чего проще, чего действительнее эта картина!

Толкование Вересаева поистине похоже на «самое фантастическое притягивание за волосы невозможных фактов, которые хотя бы с самыми вопиющими натяжками можно было» выставить против Щеголева. Стоит просмаковать густо глубокомысленный комментарий Вересаева.

«Тост, между прочим, – за „нее“. Кто это „она“?»

… Просто и ясно, но Вересаев погружается в задумчивость…

«Здесь можно разуметь либо „свободу“ (ср. в послании к В.Л. Давыдову: „за здоровье тех (неаполитанских карбонариев) и той (свободы) до дна, до капли выпивали)“».

… Какое парение в высоту! и даже с ученой обстановочкой, даже с «притягиванием за волосы цитат». Вересаев чувствует, что парение излишне, не помогает…

«Либо, если искать женщину…»

… Так-то ближе к делу. Вересаев выходит из задумчивости, ищет женщину… готов искать где угодно, лишь бы не за стеной…

«то всего вероятнее – графиню Воронцову».

… придумал! Но почему? почему не Ризнич, не Раевская? Двоеточие готовит объяснение…

«Пушкин, по сообщению Пущина, говорил ему, что приписывает удаление свое из Одессы козням графа Воронцова из ревности».

… Отсюда все же далеко до тоста «за нее» – за Воронцову. Нужен вольт, и Вересаев его делает…

«значит, посвятил Пущина в тайну своих отношений с Воронцовой».

…Новый дар Вересаева пушкиноведению! Откуда же значит? Обращаемся к источнику, к подлинному тексту рассказа Пущина.

«Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню: он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности; думал даже, что тут могли действовать смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии. Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим отрывистым его ответам на некоторые мои опросы, и потому я просил оставить эту статью, тем более, что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклоняли нас от другой, близкой нам беседы». Ну, по совести, ведь никак нельзя из этих строк вывести утверждение, «что Пушкин посвятил Пущина в тайну своих отношений с Воронцовой». А Вересаев с бесцеремонной неосторожностью это делает, но ведь это значит только «самый откровенный импрессионизм, самое безудержное фантазирование»! Дальше идут критические упражнения или вернее восклицания Вересаева…

«Щеголев этот тост за „нее“ толкует, как тост за ту дворовую девушку-швею, которая привлекла к себе внимание Пущина».

… Доносится вопль из критической пустыни Вересаева…

«Вещь, совершенно не мыслимая ни в психологическом, ни в бытовом отношении».

… Такому абсолютному утверждению нужны же какие-нибудь фактические подкрепления. Вересаев требует их от меня!..

«Хотя бы Щеголев обратил внимание на такую деталь: „попотчевали искрометным няню, а всех других хозяйскою наливкою“. Пьют за нее шампанское, а самой ей наливают

наливку! Тост совершенно невозможный, если мы реально представим себе Пушкина и крепостную девушку-швею за пяльцами».

… Нет, не могу дать подкрепления Вересаеву. Ничего невозможного, ничего странного в этой детали не вижу. Да, в барской комнате пьют господа шампанское, а в девичью, где среди швей сидит и она, посылают наливку. Ничего не поделаешь! Пушкин не пригласил ее к столу, а тост был за нее, за отсутствующую. Все между Пущиным и Пушкиным было понято без всяких слов. Хотя бы Вересаев обратил внимание на такую деталь: шампанское привез Пущин и захватил он в Острове всего три бутылки: две роспили за обедом, одну за ужином. Хотя бы Вересаеву пришла на помощь «хорошая художественная выдумка», но и этого не случилось…

Итак, рассказ Пущина не дает оснований к заключению, что Пущин имел дело с первой живой брюхатой грамотой; становится легче, и значит, Вересаев не лишил нас логической возможности думать, что Пущин в январе 1825 года видел ту девушку, которую через год Пушкин отослал беременной. Вопреки «чреватому» толкованию Вересаева мне именно кажется (увы! только кажется, а утверждать не смею!), что Пущин застал именно начальный момент любовного приключения, быть может, еще и не разрешенного физиологически.

VI

Но что же нам делать с этими давно известными сообщениями? Как нам вставить в биографию поэта этот крестьянский роман? Биографы и исследователи самым решительным образом обходили этот момент жизни Пушкина, просто отмахиваясь рукой… не то по чувству целомудрия, хотя бы и лицемерному, не то в силу досадливого и неприятного сознания социальной неправды. Впрочем, есть один писатель по пушкинским вопросам, так сказать, пушкинист-импрессионист, который вошел в пространный анализ этого романа и пришел к нелепым выводам: это – В.Ф. Ходасевич в его книге «Поэтическое хозяйство Пушкина» {Я пользуюсь русским изданием – Ленинград, 1924. Ссылок на страницы в дальнейшем не делаю.}. О его неосновательных соображениях я еще буду говорить дальше, а пока приведу лишь сделанную им общую характеристику пушкинского романа: «Можно предположить лишь то, что со стороны Пушкина было легкое увлечение с несомненной чувственной окраской – типичный роман молодого барина с пригожей крепостной девушкой. Вряд ли также будет ошибкою, если допустим, что роман носил некоторый отпечаток сельской идиллии, отчасти во вкусе XVIII столетия, и слегка походил на роман Алексея Ивановича Берестова с переодетой Лизой Муромской в „Барышне-крестьянке“». Почти такую же оценку дает и другой писатель по пушкинским вопросам П.К. Губер: «Это был типический крепостной роман, – связь молодого барина с крепостной девкой» {П.К. Губер, Дон-жуанский список Пушкина, Пгр., 1923, стр. 199. О романах барчуков с крепостными девицами см. сжатую, выразительную, но страдающую преувеличениями характеристику Б.А. Садовского, Ледоход. Статьи и заметки, Петроград, 1916, стр. 18–19. Тут идет речь об увлечениях девичьей у Лермонтова, Фета, отца Л. Толстого. Но Пушкин не был уже барчуком.}.

Я никак не могу согласиться с такой характеристикой. Если брат и интимные друзья Пушкина ни словом не обмолвились о крестьянском романе поэта, так только потому, что, коснея в своих классовых дворянских чувствах, они полагали пустяшной и не достойной даже мимолетного упоминания связь барина со своей крепостной и считали, что связь исчерпывается лишь моментом физиологическим и не дает оснований к надстройкам романтическим. А, кроме того, сам Пушкин довольно тщательно укрывал от посторонних взоров эту любовную историю, да и в рукописях своих он оставил слишком мало высказываний,

относящихся к этому моменту, но все же тем немногим, что он оставил, следует воспользоваться. Рассказать о жизненной правде в этом эпизоде для Пушкина было бы так же трудно, как писать мемуары. «Писать мемуары заманчиво и приятно. Никого так не любишь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, – на том, что посторонний прочел бы равнодушно» {Переписка, I, стр. 287, № 207.}.

Против легкого характера увлечения Пушкина говорит самая длительность связи. Начальный момент романа, по свидетельству Пущина, падает на январь 1825 года или даже на декабрь 1824 года, и только в мае следующего года Пушкин отпускает или отсылает девушку в период беременности, еще незаметной для окружающих. Из сообщения Вяземского можно заключить, что отец и семья, с которыми ехала девушка через Москву в Болдино, еще не знали о грехе дочери. Итак, год с лишком тянулась связь барина с крестьянкой, и никак нельзя характеризовать ее как легкое увлечение.

Для кого угодно, но не для Пушкина это увлечение могло быть легким. В поэзии Пушкина совесть говорила властным языком, и мотив раскаяния, покаяния часто звучал в его художественном творчестве. С необычайной силой запечатлен этот мотив в стихотворении «Когда для смертного умолкнет шумный день…»:

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

А ведь это он, Пушкин, написал патетический протест против крепостной действительности!

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор

Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея;
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея…

Нельзя не подчеркнуть, что в первой части этого стихотворения Пушкин описывает как раз Михайловское таким, каким оно виделось ему с балкона господского дома:

… люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты…

В этой обстановке и разыгрывался роман Пушкина с юной крестьянской девой. И обстановка, и социальное неравенство не могли не напоминать Пушкину его же слов о помещичьей прихоти и не могли не усложнить его чувства. Недаром и наблюдательный Пущин отнесся к роману своего друга с большей чуткостью и осторожностью, чем Вересаев и Ходасевич. Пущин боялся оскорбить Пушкина неуместным намеком, а Пушкин, поняв, что Пущин догадался, улыбнулся значительно. А потом они пили за «нее». И по этим соображениям нельзя свести этот роман к физиологическому инстинкту, оголенному от всякой романтики. Не для помещичьей же прихоти расцветала крестьянская девушка над пяльцами, под наблюдением няни? А

может быть, и для прихоти! Может быть, для прихоти только поначалу?

Пушкин углублялся в самого себя и писал «Онегина». На рубеже 1824 и 1825 годов в главе четвертой «Онегина» Пушкин закончил историю деревенского романа Татьяны блистательной отповедью Онегина бедной Татьяне. Татьяна, выслушав урок Онегина, увядает, бледнеет, гаснет, а Онегин? Онегин, как и Пушкин, еще в деревне, и, возвращаясь к Онегину, Пушкин описывает собственную деревенскую жизнь. «В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь», – признавался Пушкин Вяземскому {Переписка, I, стр. 352, № 257. Кстати, в этом самом письме Пушкин упоминал и о девушке, отосланной им из Михайловского.}:

Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая…

По правде жизни следовало бы дальше показать деревенские интимности и эту самую белянку черноокую, и что вышло у Онегина с этой черноокой белянкой, помимо младых и свежих поцелуев. Ну, Татьяну отчитал, отвергнул, а белянку соблазнил… но Пушкин предпочел не развивать вскользь брошенного намека.

VII

Нам необходимо заглянуть еще и в финляндскую повесть Баратынского, названную по имени героини «Эдой» {Цитирую по первому изданию «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма, Евгения Баратынского», СПб., 1826. Ценз, разрешение подписано 26 ноября 1825 года.}. Соблазненную девушку, отосланную в Болдино, Пушкин называет «моей Эдой», но что общего между Эдой и девушкой из Михайловского, какие основания были у Пушкина для сравнения? Эда Баратынского – финка, отца простого дочь простая, блиставшая красой лица, души красой, «добренькая» Эда. Герой романа – русский офицер. Эда любит гусара, но боится его, боится ему отдаться. – «Нам строго, строго не велят дружиться с вами, говорят, что вероломны, злобны все вы, что вас бежать должны бы девы, что как-то губите вы нас, что пропадешь, когда полюбишь, и ты, – я думала не раз, – ты, может быть, меня погубишь». Поэма – психологическая история обольщения Эды. Герой, не любя, увлекает Эду к падению.

Питомец буйного веселья
В пустыне скучной заключен,
За милой Эдой вздумал он
Поволочиться от безделья.

Герой владел хладным искусством любовной ласки, гордился жалкою наукой обманов:

Едва пора самопонятья
Пришла ему; наперерыв
Влекли его к себе в объятья
Супруги, бывшие мужей
Чресчур моложе, иль умней.
И жадно пил он наслажденье,
И им повеса молодой
Избаловал воображенье,
Не испытав любви прямой.

Эда уступила хладному искусству, ответила горячей любовью; но гусар ушел в поход, и Эда не вынесла разлуки: «кручина злая ее в могилу низвела». Баратынский заставляет

своего героя измениться. Похоть первоначальная превращается в искреннее чувство… Он тронут был ее любовию невинной:

Увы, мучительное чувство
Его тревожило потом!
Не раз гусарским языком
Он проклинал свое искусство;
Но чаще, сердцем увлечен,
Какая дева, думал он,
Ее прелестней в поднебесной?
Душою проще и нежней?
И провиденья перст чудесной
Он признавал во встрече с ней;
Своей подругой неразлучной
Уж зрел ее в мечтах своих;
Уже в тени дерев родных
Вел с нею век благополучной…

Поэма Баратынского понравилась Пушкину необычайно. Прочел он ее в феврале 1826 года, когда плоды его собственного романа уже сказались. «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт – всякий говорит по-своему. А описания финляндской природы! А утро после первой ночи! А сцена с отцом! – чудо!» – писал Пушкин Дельвигу 20 февраля 1827 года {Переписка, I, стр. 328, № 237.}. Немного позже, набрасывая в черновой тетради критические заметки о Баратынском, Пушкин старался уяснить, в чем прелесть поэмы, столь замечательной оригинальной своей простотой, и останавливался на изображении Эды.

«Перечтите сию простую, восхитительную повесть: вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь. Посмотрите на Эду после первого поцелуя предприимчивого обольстителя:

Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах…

Она любит, как дитя, радуется его подаркам, резвится с ним, беспечно привыкает к его ласкам… Но время идет. Эда уже не

ребенок:

……..
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай, и в дол прекрасной
Не приходи…

Какая роскошная черта! Как весь отрывок исполнен неги!» {Сочинения и письма Пушкина, ред. П.О. Морозова, изд. «Просвещение», VI, СПб., стр. 307–308.}

VIII

Аналогия несомненна: Эда и гусар, Пушкин и крестьянская девушка. От изысканных одесских романов, от блистательных светских красавиц, от аляповатых и претенциозных помещичьих дочек – к простой, милой, доброй девушке.

Я признаюсь – вечернею порой
Милее мне смиренная девица —
Послушная, _к_а_к_ _а_г_н_е_ц_ _п_о_л_е_в_о_й.

Тема обольщения невинной девушки развита в «Сцене из Фауста» с трагическим углублением. Фауст у Пушкина – герой скучающий и размышляющий: размышленье – скуки семя. Один момент – и Фауст вспомнил чистое пламя любви и чудесный сон первой встречи, но Мефистофель беспощадно разрушает иллюзию Фауста:

Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты?
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее?
……..
Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье – скуки семя),
И знаешь ли, философ мой,
Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
……
Ты думал: _а_г_н_е_ц_ _м_о_й_ _п_о_с_л_у_ш_н_ы_й!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она…
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей

Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем…

Так вот на какие трагические, безутешные размышления могло навести Фауста-Онегина-Пушкина разрушение девичьей невинности? Но прихоть – да, скажем, прихоть – удовлетворена, а связь длится, и прихоть перестает быть прихотью, и физиологический инстинкт, как у героя Эды, осложняется переживаниями социального порядка. Какое же место заняла связь с крестьянской девушкой, продолжавшаяся свыше года, в жизни Пушкина – в истории его любовного чувства и в его творчестве? Да заняла ли? На последний вопрос должно ответить утвердительно, хотя бы на основании уже приведенных соображений. Труднее ответить на первый вопрос, определить место.

Чем могло питаться любовное чувство Пушкина в 1825 году, когда укрытый от всех взоров развивался его роман в Михайловском? Скажем прямо: Пушкин не был моногамистом, и одновременно он мог питать страсть к нескольким объектам. Вспомним «Дориду».

В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Кавказский пленник чувствовал такую же любовную раздвоенность:

В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!

Но раздваивался Пушкин в любовном чувстве не только между действительностью и воспоминанием, но и между сосуществующими объектами вожделения. В 1825 г., кроме Михайловского, такие объекты могли оказаться только в Тригорском.

О романах Пушкина с тригорскими барышнями – да чуть не со всеми – рассказывают все биографы поэта. Биографами в их

совокупности взяты под сомнение все существа женского пола свыше 14 лет, пребывавшие в Три-горском. Сама хозяйка, П.А. Осипова, милая, смешная, оригинальная, маленькая полная женщина 43 лет, вдовевшая с февраля 1824 года, и дочери ее – двадцатипятилетняя Анна Николаевна, сентиментальная, тоскующая, страдающая, болтливая и неглубокая, с растрепанными височками, которые не шли к ее круглому лицу, – и пятнадцатилетняя Евпраксия, на глазах Пушкина расцветавшая из подростка тоже в женщину, с тонкой талией, в золотистых кудрях на полных склонах белых плеч – любви приманчивый фиал, – и девятнадцатилетняя падчерица П.А. Осиповой Александра Ивановна, Алина, девушка пылких чувств и легко возбуждающегося воображения, – и одна племянница, Анна Ивановна, Нетти, нежная, томная, истеричная («вот это женщина!» – слова Пушкина), – и, наконец, другая племянница, Анна Петровна Керн, о которой надо сказать несколько слов особо. Все эти девушки Тригорского отдали дань сердечных увлечений поэту, – «я нравлюсь юной красоте несытым бешенством желаний», говорит о себе Пушкин – все они разновременно были влюблены в Пушкина, но он только снисходил, оставался только зрителем и наблюдателем любовного быта Тригорского даже и тогда, когда все думали, что он без оглядки плывет по волнам этого быта. Правда, и он не обошел своим вниманием ни одной из девушек. Если попытаться внести хронологию в любовную историю Тригорского, то надо, кажется, разбить ее на следующие периоды. Любовные фарсы, потехи падают на первый период – на 1824 год: больше смеха, чем пылких чувств. Нетти занимает воображение Пушкина в марте 1825 года, в начале 1826 года Пушкин влюбил в себя Анну Николаевну, летом 1826 года предметом невинных стихов стала Евпраксия, и где-то посредине путешествие в Опочку и речи в уголку вдвоем с пылкой и страстной Сашенькой Осиповой.

В последнее время любовный быт пушкинской эпохи нашел строгого судью в Вересаеве, судью, но не толкователя. С наивностью, неуместной для судьи, положился Вересаев на свидетельские показания Алексея Вульфа, сына Осиповой, приятеля, друга и ученика Пушкина в любовном деле. Действительно, в историю любовных нравов свидетельства Вульфа вносят яркие и поразительные подробности. Откровенно описывал Вульф, в чем состояли его, Вульфа, романы с девушками. Он, видите ли, проводил их через все наслаждения чувственности, но они оставались девушками; он незаметно от платонической идеальности переходил до эпикурейской вещественности, оставляя при этом девушек добродетельными

{См. мою статью «Любовный быт пушкинской эпохи» в новом издании «Дневников А.Н. Вульфа» в изд. «Федерация», 1929.}. Врач по специальности, Вересаев отмечает патологические результаты: у Вульфа постоянные головные боли, которые он сам приписывал «густоте крови», а девушка то и дело «нездорова и грустна». И всем методам платонической любви, по мнению Вересаева, обучал Вульфа не кто иной, как Пушкин. Но при чем тут Пушкин? Таков любовный быт той эпохи с неподвижным и жестким брачным укладом, когда разрешенный материалистически роман в помещичьей среде влек неминуемый брак со всеми экономическими последствиями. И, кроме того, помещичий сынок, перенимавший с Запада моды, брал оттуда и образцы любовных сближений. Пушкин – сын своего времени, и не приходится серьезно говорить о нем, как о Мефистофеле, а о Вульфе, как о Фаусте. Да, Вульф видел в Пушкине не столько учителя, сколько соперника, и не доказано, что Пушкин в своем обращении с сестрами и кузинами своего ученика в науке нежной страсти шел по тому же пути. По крайней мере, мы не слышим ни об одной жалобе на «густоту крови».

Вересаев не признал в Вульфе холодного ремесленника любви. Нет сомнения – и Пушкин хорошо знал ремесло любви, но ведь в Михайловском в эпоху тригорских романов Пушкин писал:

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной
Сам о себе везде трубя,
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава…

Но ясно, во всяком случае, как бы далеко ни заходил Пушкин в своем любовном быту, тригорские романы (даже и по Вересаеву) не получали физического разрешения, и девичьей чести обитательниц Тригорского урону не было.

Особо надо сказать об увлечении Пушкина, оставившем, по силе чувства, далеко позади все тригорские романы с Анетами, Зизи, Алинами. Летом 1825 года в женском цветнике Тригорского появилась еще одна племянница, совершенно прелестная двадцатипятилетняя красавица Анна Петровна Керн, взволновавшая чувственность Пушкина до пределов. «Как можно быть вашим мужем? Я не могу себе составить об этом представления, так же, как и о рае», – писал он ей. И когда она

находилась от него на расстоянии 400 верст, он в воображении переживал страсть. При одной мысли о будущей встрече с ней у него билось сердце, темнело в глазах и истома овладевала им. И он писал: «Теперь ночь, и ваш образ чудится мне, полный грусти и сладострастной неги, – я будто вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста… Я чувствую себя у ног ваших, сжимаю их, чувствую прикосновение ваших колен, – всю кровь мою отдал бы я за минуту действительности»… Казалось бы, такая страсть в действительности должна иметь неизбежное увенчание, но Пушкин вел себя, как 14-летний мальчик, был робок, застенчив и – странная вещь, непонятная вещь! – не довел свою любовную схватку до увенчания, а ведь как легко, без тоски, без думы роковой овладел молодой Вульф своей прелестной кузиной, а ведь к Анне Петровне Керн подходил бы эпитет, данный Н.М. Языковым своей любви: respublica {Языковский архив, вып. I: Письма Н.М. Языкова, СПб., 1913, стр. 161. «Правда, что Воейкова не монархическая, но я не хочу верить, что она respublica: вот тебе латинский каламбур», – писал Н.М. Языков брату 11 марта 1825 года. Res publica – в том смысле, что женщина является объектом притязаний многих и не обнаруживает особой стойкости, монархической.} Скажем прямо. Припадок влюбленности, пережитый Пушкиным во время пребывания Керн в Тригорском в июне-июле 1825 года, не нашел физиологического разрешения и дал поразительный эффект только в творчестве: 19 июля Пушкин вручил Керн автограф – «Я помню чудное мгновенье». И только года через три, когда праздник встречи, праздник пробуждения души и упоительного биения сердца стал далекими буднями и гению чистой красоты был дан эпитет вавилонской блудницы, инстинкт вступил в свои права, и где-то, как-то вышел случай, и Пушкин на момент овладел Анной Петровной… с божьей помощью {Совершенно невразумительно трактует любовь Пушкина к Керн в своих «Заметках» Вересаев. «Увлеченье Вульфом, – пишет он, – конечно, делало для нее совершенно невозможным ответный отклик на домогательства». Но почему «конечно»?}.

…Чувственные возбуждения в Тригорском достигали высоких градусов и не находили здесь разрешения… Страстный темперамент Пушкина, бешенство желаний, невероятные взрывы ревности нам известны – особенно в период жизни на юге. А вот про жизнь его в 1824–1825 годах мы не знаем о таких проявлениях чувственного возбуждения. О припадках ревности, похожих на чуму, мы не слышали за это время. Ревность к Керн была больше в письмах, чем в действительности. Никогда чувственная жизнь Пушкина не протекала в столь нормальных

условиях, как в этот год – в 1825-й. Но здоровая нормальная любовь, удовлетворявшая его жадную чувственность, была в Михайловском, а не в Тригорском. Здесь, в Михайловском, жила милая и добрая крестьянская девушка, подарившая и девичью честь, и все свое чувство человеку, для нее необыкновенному. Ни в одном своем романе Пушкин не был так далек от припадков ревности, как в этом. И любовные отношения с девушкой, невинной как агнец полевой, были совсем свободны от приторных особенностей тригорских романов.

Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слезы,
Надзоры теток, матерей,
И дружба тяжкая мужей!

IX

Кстати, я забыл сказать, что о девушке мы можем сказать больше даже на основании данных, уже нам известных. Мы знаем ее отца. Это не раз упоминавшийся мною доверенный С.Л. Пушкина, приказчик села Михайловского, Михаил Иванович Калашников. Ведь это он и был назначен С.Л. Пушкиным в управляющие села Болдина. Назначение состоялось в январе 1825 года, а через год с лишним – в мае 1826 года – это он перевозил свое семейство, а в его составе и свою дочь, в Болдино. Об ее грехе он еще не знал.

Могу с точностью назвать ее имя. В ревизской сказке, поданной в 7-ю ревизию в марте 1816 года, среди дворовых сельца Михайловского на первом месте вписан Михайло Иванов с семьей – женой, пятью сыновьями и единственной дочерью, которой было в момент записи 10 лет. Имя ее – Ольга.

Итак, Ольга, Ольга Михайловна, дочь Калашникова {По некоторым соображениям, которые за их ошибочностью не стоит приводить, при первом появлении настоящей работы в журнале «Новый мир» я предположительно назвал Анной отца простого дочь простую. По ознакомлении с помянутой выше ревизской сказкой, хранящейся в Псковском губархиве, могу назвать теперь имя с ручательством за достоверность.}.

И еще кстати. Не лишнее указать, что в одном из так называемых дон-жуанских списков Пушкина среди женских имен, близких Пушкину, названо и имя Ольги. Кто Ольга, не выяснили исследователи дон-жуанского списка {Пушкин, ред. С.А. Венгерова, т. IV, 1909, ст. Н.О. Лернера, Донжуанский список Пушкина, стр. 100.}. В исследованном ими любовном календаре даже имени такого не было. Теперь оно появляется.

X

Роман развивался в отсутствие отца, а покровительницей романа была, конечно, няня, свет Родионовна. Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что уж никак не могла не заметить, на кого направлены вожделеющие взоры ее питомца. Пушкин слышал ее тяжелые шаги за стеной и чувствовал ее кропотливый дозор. Ее «простые речи, и советы, и укоризны, полные любви» утешали Пушкина.

Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий ее образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам, крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившая их удовлетворение! Ни в чем не могла она отказать своему неуимчивому питомцу. «Любезный друг, я цалую ваши ручки с позволения вашего сто раз, и желаю вам то, чего и вы желаете…» – читаем в ее письме, которое писали под ее диктовку в Тригорском (а тригорские барышни еще от себя поправляли!). Семидесятилетняя старушка любила молодежь, любила поболтать, порассказать о старине в назидание и поучение, не прочь была даже от бокала вина на молодой пирушке.

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей!
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей!

О старой няне идет речь в стихах Пушкина. И Языков воспевал ее и пиры в ее присутствии в комнате Пушкина.

С каким радушием – красою древних лет —
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного стола…
Ты занимала нас, добра и весела,
Про стародавних бар пленительным рассказом;
Мы удивлялися почтенным их проказам,
Мы верили тебе, – и смех не прерывал
Твоих бесхитростных суждений и похвал.
Свободно говорил язык словоохотливый,
И легкие часы летели беззаботно.

И еще в другом стихотворении Языкова любопытное описание домашнего быта Пушкина:

Вот там – обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечиненный, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван под образом в углу,
Да пара стульев; стол украшен
Богатством вин и сельских брашен.
И ты, пришедшая к столу, —
Мы пировали, – не дичилась
Ты нашей доли – и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченною мечтой.
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры
И звон стакана о стакан.
…….
Шумней, удалая пирушка!
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай.

Длинные зимние вечера Пушкин коротал с подругой своей бедной юности. Она рассказывала ему сказки. Так и кажется (вот для этого предположения у меня нет данных, но уж очень оно напрашивается!), так и кажется, что рядом тут же сидит и дочка приказчика Михайлы, которую Пущин сразу отличил среди крепостных швей. Только при покровительстве няни могла длиться связь Пушкина с Ольгой Михайловой: в узкой ограниченности барского дома и усадьбы от няни не укрылось бы ни одно вожделение любезного ее сердцу питомца {За няню обиделся на меня Вересаев. Защищая няню, он опустился до лицемерных аргументов, доносящих до нас крепостнические ароматы. «Общее уважение, которым она пользовалась в семье Пушкиных, не достигается одним низкопоклонством и потаканием барским прихотям», – пишет Вересаев. Но ведь он же пушкинист и должен знать, что «общему уважению семьи Пушкина» цена – ломаный грош.}.

В конце февраля – в начале марта случилась история, которая, по всей видимости, имеет отношение к интимным делам

Пушкина. Он писал в это время брату: «У меня произошла перемена в министерстве: Розу Григорьевну (экономку, назначенную матерью) {В круглых скобках – пояснение П.Е. Щеголева. (Прим. ред.)} я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых я не должен был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне счеты… Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления… Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления». Конечно, воровство Розы играло последнюю роль, а главное – слова, которые Пушкин не должен был вынести, и обида няне {Внимательное чтение приведенных строк Пушкина убеждает в правильности нашего вывода: воровство Розы – дело второе, а первое – обида няне. А в чем обида, можно только строить догадки.}. Ушла Роза, которая могла быть свидетельницей романа. Остались сам барин, да няня, да девушка.

XI

От работы над записками Пушкин перешел в Михайловском к работе над художественным воплощением исторических событий – над «Борисом Годуновым». У него было спокойное настроение – необходимое условие плодотворной творческой работы. «Для вдохновенья нужно сердечное спокойствие» {Переписка, III, стр. 239, № 939.}, – проговорился однажды Пушкин Плетневу. Когда у него не было спокойствия, он не мог отдаваться порывам вдохновения. «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен» {Там же, III, стр. 232. № 933.}. В 1825–1826 годах в Михайловском Пушкин работал с творческим увлечением, необычайно радостно. Окончив работу, он веселился, как ребенок. Он перечел свою трагедию вслух, один, и бил в ладоши и кричал: «ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» Создание «Бориса Годунова» предполагает особенные условия творчества: спокойное, удовлетворенное состояние духа, устранение мелких раздражающих моментов и в области интимной спокойное чувство любви, находящей ответное удовлетворение. Окончательная отделка «Годунова» падает на ноябрь месяц 1825 года, а в начале мая, т. е. через пять месяцев, Ольга Калашникова уже стала живой брюхатой грамотой, отосланной к Вяземскому, но особенность ее положения еще не бросалась в глаза.

Пушкин олицетворял свою музу в своих героинях. Между прочим, в восьмой главе «Онегина» муза является уездной барышней, «с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках». Я напомню еще одно олицетворение. Пусть оно и заимствовано, но ведь Пушкин относился к переводам вполне субъективно и выбирал оригиналы, созвучные своей жизни и творчеству:

О, боги мирные полей, дубрав и гор,
И гений и стихи ваш любят разговор.
Меж ними я нашел и Музу молодую,
Подругу дней моих невинную, простую —
Но чем-то милую, – не правда ли, друзья?

Набросок не окончен, и если уж искать автобиографических приурочений, то нечего далеко ходить. Ни к кому другому, кроме как к невинной, простой, милой и доброй Ольге Калашниковой, нельзя отнести это приурочение. Оживленная лучом вдохновения и славы, молодая крестьянская девушка, с которой Пушкин жил в

1825 году, оставила обаяние своей невинности и простоты в творчестве Пушкина, хотя бы в спокойной простоте трагедии о Борисе Годунове, в той простоте, к которой, как к идеалу, движется дальше пушкинское творчество.

Перед нами две чашки весов. Бросьте на одну все три-горские романы с совершенно ничтожными, изломанными, исковерканными воспитанием помещичьими дочками и племянницами, а на другую – вот этот крестьянский роман, это сожительство барина с крестьянкой. Боюсь, что тригорская чашка пойдет быстро вверх. Михайловский роман прочнее, здоровее; в нем больше земли.

Конечно, при нашем скудном состоянии источников нет возможности точно определить значение крестьянской любви в жизни и творчестве Пушкина. Вопреки Вересаеву, мы утверждаем только, что свести ее к проявлениям оголенного физиологического инстинкта мы не имеем права. Недаром тема крестьянской любви интересовала Пушкина, как материал для художественной обработки. Герой ненаписанного романа, русский Пелам, переживает крепостную любовь. В одной из программ этого романа Пушкин записал: «Эпизоды (Уезжает в деревню. – Смерть отца его. – Эпизод крепостной любви)» {Сочинения и письма Пушкина, ред. П.О. Морозова, изд. «Просвещение», СПб., т. V, стр. 571.}.

Во всяком случае не мешает исследователям поразмыслить над поставленной мной проблемой, вникнуть поглубже в историю мужицкого романа, поискать новых материалов и параллелей. Как бы там ни было, как там не называй, а существовала милая и добрая девушка. «Не правда ли, она очень мила?» – боязливо спрашивал Пушкин крепостного барина князя Вяземского: значит, ему-то, Пушкину, она казалась очень милой. И с этой очень милой женщиной Пушкин сожительствовал – долго ли, коротко ли, – но сожительствовал, вплоть до того, что почувствовал ее матерью будущего его ребенка. Нельзя устранить со страниц биографии Пушкина Ольгу, Михайлову дочь.

Одна мелочь из Михайловской жизни Пушкина. Если когда-либо Пушкин был «народником», так это в Михайловском. Не стану пользоваться воспоминаниями старожилов; приведу свидетельство, которому можно поверить, свидетельство современное, секретного агента Бошняка, известного предателя по делу декабристов. В июле 1826 года по поручению начальства он собрал сведения о Пушкине. «В Новоржеве от хозяина гостиницы Катосова узнал я, что на ярманке Свято-горского Успенского монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железною

тростью в руке… Пробыв целый день в селе Жадрицах у отставного генерал-майора П.С. Пущина, в общих разговорах узнал я, что иногда видали Пушкина в русской рубашке и в широкополой соломенной шляпе; что Пушкин дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними; что иногда ездит верхом и, достигнув цели путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу… По прибытии моем в монастырскую слободу, при Святогорском монастыре состоящую, я остановился у богатейшего в оной крестьянина Столарева. На расспросы мои о Пушкине Столарев сказал мне, что Пушкин живет в 3-х верстах от монастыря, в селе Зуеве (Михайловском), где, кроме церкви и господского строения, нет ни церковно-служительских, ни крестьянских домов… Что Пушкин – отлично-добрый господин, который награждает деньгами за услуги даже собственных своих людей; ведет себя весьма просто и никого не обижает; ни с кем не знается и ведет жизнь весьма уединенную. Слышно о нем только от людей его, которые не могут нахвалиться своим барином» {Б.Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором, 3-е изд., 1925, стр. 22–28.}.

Вот каким народолюбием заразился Пушкин в Михайловском. И в 4-й главе он описал наряд Онегина, иными словами, свой собственный наряд:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский нараспашку
И шапку с белым козырьком —
И только. Сим убором чудным,
Безнравственным и безрассудным,
Была весьма огорчена
Его соседка Дурина,
А с ней Мизинчиков…

{В современных собраниях сочинений Пушкина эта строфа (с вариациями) печатается в разделах «Из ранних редакций». См. Пушкин. Полное собр. сочинений, т. 5, М., 1964, с. 535. (Прим. ред.)}

Дворянам-помещикам не нравился наряд Пушкина. Наряд шокировал их, но крестьянской девице Ольге Михайловне Калашниковой, должно быть, нравился, и «барин-крестьянин» овладел ее любовным вниманием.

XII

Роман оборвался в мае 1826 года. Калашникова была в обременении; а тут вышло так, что она должна была переезжать вместе с семьей в Болдино, куда за год до этого ее отец, крепостной человек Н.О. Пушкиной, был назначен управляющим. Таким образом, у нас нет даже оснований к утверждению, что Пушкин отсылал ее по собственной инициативе. Правда, он попытался было воспользоваться ее переездом и отвратить тот срам, который вот-вот должен был упасть на ее голову. Но князь Вяземский не вник по существу в интимное дело своего друга и оказался просто-напросто хладнокровным и рассудительным рабовладельцем и посоветовал Пушкину войти в сношения с отцом девушки. Почувствовав нежелание князя впутываться в это дело, Пушкин отмахнулся от него: «ты прав – письмом улажу все дело». И опять у нас нет данных, писал ли Пушкин отцу девушки.

Переходим к дальнейшей истории крепостного романа Пушкина:

«Какова была дальнейшая судьба этого семейства, проезжавшего в мае 1826 года из Михайловского в Болдино, мы не знаем.

Дожила ли героиня истории до родов, благополучно ли родила, мальчика или девочку, где после жила и долго ли, что сталось с ребенком – ничего не известно. Ни в переписке Пушкина, ни в рассказах и бумагах его современников обо всем этом нет больше и намека, даже имя ее не сохранилось – и мать, и ребенок как в воду канули».

Эти слова принадлежат В.Ф. Ходасевичу. Он поставил ряд вопросов, заявил, что для ответов на эти вопросы нет данных, но не удержался при этом заявлении, пошел дальше, вступил в соблазнительную и опасную область предположений и покатился по наклонной плоскости. Вот фантастическая история, рассказанная им. Ходасевичу показалось, что судьба девушки, соблазненной Пушкиным, дала тему для «Русалки»:

«Если Пушкин взялся за „Русалку“, – говорит он, – значит она ему была не сюжетно, а внутренне важна и близка, значит с этим сюжетом было для него связано нечто более интимное и существенное, чем намерение только состязаться с Краснопольским, автором „Днепровской русалки“. Скажу прямо – „Русалка“, как весь Пушкин, глубоко автобиографична, она отражает историю с той девушкой, которую поэт „неосторожно обрюхатил“. „Русалка“ – это и есть та беременная девушка, которую отослали рожать в Болдино князь Вяземский и сам

Пушкин».

Отсылая девушку из Михайловского, Пушкин так или иначе собирался заботиться о будущем малютке, если это будет мальчик, между тем никаких следов подобной заботы мы не встречаем в дальнейшем ни у самого Пушкина, ни у кого-либо из близких людей. Даже допустив, что младенец оказался девочкой, а Пушкин был так жесток, что не проявлял никакого внимания, то все же удивительно это бесследное исчезновение ребенка и матери. Если, наконец, – как ни трудно это допустить, – ребенок с матерью, живя в Болдине, ничем никогда не напоминали о своем существовании, то придется допустить нечто еще более невероятное – психологическую возможность для Пушкина-жениха в 1830 году, перед самой свадьбой, отправиться для осеннего вдохновения в это самое Болдино, где живет его собственный ребенок со своей матерью. Несомненно, что если бы возможность такой встречи существовала, то Пушкин в Болдино не поехал бы. Между тем, он поехал. Решительно немыслимо допустить, чтобы Пушкин в 1834 г. мог мечтать переселиться с женой и детьми в то самое Болдино, где в качестве какой-нибудь птичницы живет его бывшая любовница и дворовым мальчиком бегает его сын. Конечно, ни этой женщины, ни ребенка в Болдине давно уже не было.

Валерий Брюсов
Пушкин-мастер

I

Поэтическое произведение возникает из различных побуждений. Основные, конечно, – стремление выразить некоторую мысль, передать некоторое чувство или, точнее, уяснить себе, а следовательно, и читателям еще неясную идею или настроение. Но рядом существуют и другие побуждения, и среди них – задачи мастерства: повторить в своем творчестве творчество другого поэта, воплотить в своем создании дух целого литературного движения, наконец, разрешить ту или иную техническую задачу. При изучении генезиса пушкинских созданий такого рода побуждения ни в коем случае не должны быть забываемы.

Пушкин был не только великий поэт: он был учитель поколений и в то же время должен был быть создателем новой русской литературы. Не отымая значения у предшественников Пушкина, учитывая все, что он взял не только у Батюшкова, Жуковского, Вяземского, но и у поэтов XVIII века, особенно у Державина, – надо признать, что по всем направлениям Пушкину приходилось прокладывать дороги, как пионеру в девственном лесу. Прежде чем осуществлять свои творческие замыслы, Пушкин вынужден был создавать орудие для того. Пушкин преображал язык, пересоздавал стих, творил лирику (как ее поняли романтики), в основании обновлял драму (идущую от Шекспира), вырабатывал прозу (не карамзинскую), впервые давал русскую повесть, русский роман, русскую новеллу, как мы их понимаем теперь. Следует добавить, что при всем том Пушкину приходилось еще быть и критиком, и исследователем литературы («Слово о полку Игореве»), и историком, и журналистом и многим другим.

Валерий Брюсов

До Пушкина у нас были писатели и поэты, но литературы не было. Надо было заложить ее новые основы и для того прежде всего вобрать в зарождающуюся русскую литературу всё, сделанное до того времени на Западе и на Востоке, в древности, в эпоху средневековья, в новое время. Задача титаническая, вполне аналогичная той, которая стояла перед эпохой Петра I. И Пушкиным эта задача была решена, конечно, постольку, поскольку вообще подобные задачи могут решаться одним человеком. Чтобы самому стать великим поэтом, Пушкин поочередно становился поэтом разных стран и разных веков, вбирал в себя все, что дали тысячелетия.

Мировая литература представляет великое разнообразие направлений, методов творчества, технических приемов. Пушкин, усердно, неутомимо изучая литературу всех стран, – что видно и по его созданиям и по его заметкам, – задумывался, по-видимому,

над всеми этими явлениями и как великий мастер старался все их усвоить родной русской литературе. Встречаясь с тем или с другим литературным памятником, Пушкин задавал себе вопрос: «А можно ли то же самое сделать по-русски?» – и это, вероятно, было исходной точкой для многих, и очень многих его произведений. В Пушкине «все было творчество», другие – читают, перечитывают, обдумывают; Пушкин – творил то же самое, воссоздавал вторично, и это был его способ усваивать.

Иногда то была общая идея произведения, которую поэту хотелось повторить, с теми или иными поправками, видоизменениями. Иногда – общий дух памятника, своеобразный, отличный от нашего, который хотелось воплотить. Иногда – удачный прием творчества, которым следовало воспользоваться. Иногда – новая манера композиции. Иногда, наконец, – просто такая-то «форма», еще не употреблявшаяся в русской поэзии, новый, необычный размер, новое расположение рифм и т. д. Можно утверждать, что вдохновение Пушкина столь же часто возникало из книг или вообще из литературных произведений (включая в их число и устную словесность), как и из жизни. Правда, Пушкин умел в эти «книжные» вдохновения вливать и начала, почерпнутые из жизни.

Рядом надо учитывать еще, что художник слова, как художник других искусств, как мастер кисти, как композитор, как скульптор, должен учиться технике своего дела. Техника стиха и техника художественной прозы – сложные дисциплины, включающие в себя ряд отдельных учений (метрика и ритмика, евфония, строфика и др.). Если во времена Пушкина эти науки еще не преподавались, как теперь в школах, то тем более труда приходилось тратить каждому поэту, чтобы самостоятельно создать их для себя. Притом эти науки, как и все другие, никогда не могут быть завершенными, они постоянно развиваются, и перед каждым поколением поэтов стоят свои очередные технические задачи, которые ему предстоит разрешить. Не менее сложным является мастерство композиции, т. е. умение наиболее целесообразным способом распределить поэтический материал, – также целая наука, имеющая и свои незыблемые законы, и постоянно открываемые новые способы и приемы. Пушкин был «писатель» в самом узком смысле слова: он мыслил на бумаге, всякий духовный процесс у него запечатлевался в написанных словах. И многое, что до нас дошло от Пушкина, не что иное, как работа над изучением техники своего искусства.

Наконец, как художники кисти, прежде чем приступить к большой картине, пишут «этюды», где разрабатывают ее отдельные элементы, – там анатомию фигуры, там группировку,

там эффект освещения, – так и художники слова не всегда сразу берутся за большое произведение. Сознательно или непреднамеренно они сначала пишут небольшие очерки на те же темы, которые входят в большую, задуманную или предчувствуемую вещь. (Примеры эти можно найти и у Тургенева, и у Достоевского, и у Л. Толстого.) У Пушкина есть ряд произведений, истинный смысл которых вскрывается лишь в том случае, если смотреть на них именно как на подготовительные наброски к другим, более значительным созданиям.

Гений Пушкина делал то, что его «упражнения», «опыты», «этюды» и т. п. приобретали значение самодовлеющее. Что у другого писателя, с дарованием меньшей силы, должно было бы остаться в его архиве, у Пушкина становилось созданием, достойным мирового внимания. Если самые варианты Пушкина, черновые поиски эпитета или оборота речи зачастую не только поучительны, но сами по себе оказываются огромной художественной ценностью – тем более приходится это признать за его законченными «пробами», подготовительными «этюдами» или даже недовершенными набросками. Тем не менее не следует ослепляться художественным блеском этих все же «упражнений»: нельзя ставить их на один уровень с подлинными созданиями великого поэта и делать из них те же выводы о его миросозерцании, о его личности. Должно всегда помнить, что здесь мы имеем дело с работой по технике, где целью художника было разрешить тот или другой вопрос своего ремесла («святого», по романтическому эпитету Каролины Павловой).

Сам Пушкин, по-видимому, строго различал «этюды» от «созданий». По крайней мере, только этим можно удовлетворительно объяснить, почему так многое из написанного им сам он не хотел отдавать в печать; ведь не меньше двух третей «сочинений» Пушкина – вещи «посмертные». Среди этих произведений, напечатанных лишь по смерти поэта, далеко не одни отрывки и незаконченные вещи или произведения, которые в свое время не смели явиться перед глазами цензора: есть среди них вещи с виду совершенно законченные или такие, которым недостает, по-видимому, только последней ретуши (например, «Мне бой знаком», «Пускай увенчанный любовью красоты», «Три ключа», «Из Буньяна», «Мальчику», «Из Анакреона», «Из Горация» и мн. др.). Между тем в ряду того, что было напечатано самим Пушкиным, немало вещей, с виду вполне незначительных, – альбомных по существу стихов, легких шуток, общих (не индивидуальных) эпиграмм и т. д. Вероятно, там, где мы теперь видим драгоценности поэзии, для самого Пушкина иногда были только «опыты», и сам поэт знал, что эти этюды использованы или

будут использованы им в некотором завершенном создании.

II

Подлинное «ученичество» Пушкина стоит за пределами наших наблюдений. Работа по овладению внешней техникой стиха прошла в период до лицея. Тринадцатилетний мальчик, в 1812 г. Пушкин является уже искусным стихотворцем, и все рассказы о том, что он будто бы не «справился» с окончанием стихов «К Делии», дописанных Илличевским, основаны на недоразумении (см. автограф Пушкина). Первые годы лицея дают нам образ молодого поэта, который, так сказать, довершает свое профессиональное образование, изучает «пятую позицию», говоря языком скрипачей. В последние лицейские годы Пушкин является уже самостоятельным мастером, который с сознанием своего права дает указания старшим сотоварищам (см. письма).

Давно указано, что в лицейских стихах Пушкина уже встречаются почти все основные размеры русского стиха: разнообразнейшие ямбы (2-, 3-, 4-, 5- и 6-стопные), хореи, амфибрахии, дактили (в том числе гексаметр); только анапест, может быть случайно, впервые появляется в 1819 году. Важнее того, что в этих стихах мы находим самые тонкие ритмические движения стиха, очень сложные звуковые построения (каких не было ни у кого из предшествующих поэтов, не исключая и Жуковского, тоже, впоследствии, великого мастера евфонии) и большое богатство строфических форм (впрочем, более всего другого подготовленное одами XVIII века). Едва ли не все, сделанное предшествующими русскими поэтами в области техники стиха, уже усвоено Пушкиным-лицеистом. Многое, правда, появляется лишь в виде исключения, – гексаметр, например, в одной пародии-эпиграмме («Внук Тредьяковского Клит…»), белый стих – тоже, дактилические рифмы лишь подражание Жуковскому («Боже, царя храни…»), и т. д., но ведь и все наследие лицейского периода невелико.

Н.Ге. Пушкин в Михайловском

Кое-что заслуживает быть отмеченным отдельно. В ряде посланий повторена в совершенстве манера Батюшкова и Жуковского; в ряде стихотворений схвачен весь дух французской «легкой» поэзии XVII–XVIII веков, в трех набросках повторен Оссиан, в «Сне» испробованы приемы французских дидактиков; «К Лицинию» явно стремится использовать подходы Ювенала (знакомого, конечно, только во французских переводах), «Торжество Вакха» – древнегреческого дифирамба; в «Бове» перепет стих Карамзина, Хераскова и Радищева; «Воспоминания в Царском Селе» воспроизводят склад и дух державинских од – и т. под.

Особняком стоят стихи «К Наташе» («Вянет, вянет лето красно…»), где поэт-лицеист поставил себе интересную задачу: передразнить тон популярного романса, в котором опошливалась сентиментальная поэзия; самая техника стиха свидетельствует об этом (стих «Стелется туман ненастный…» с ипостасой пиррихием во 2-й стопе 4-стопного хорея). Если «Под вечер осени ненастной…» принадлежит Пушкину, эти стихи могли возникнуть из тех же побуждений. Как на самостоятельные «пробы», можно указать на две пьесы 2-стопного ямба («Роза» и «Пробуждение»), поныне оставшиеся совершеннейшими (по разнообразию ритмов) образцами этого стиха, и любопытную попытку применить к русскому стиху «монорифмику» старофранцузской поэзии в «Послании Лиде», где в 63 стихах все мужские рифмы, их 29, –

однозвучны: «Купидон – трон – сон – закон – поклон» – и т. д.

Годы петербургской жизни и краткое пребывание на Кавказе и в Крыму не были временем, благоприятным для работы над техникой. То «рассеянная» жизнь, то обилие впечатлений не оставляли досуга для задач мастерства. Поэт спешил скорее выразить всё новое, что воспринял, о чем передумал. Однако и в этот период Пушкин впервые применил ряд новых технических приемов, которыми не пользовался раньше (баллада «Русалка», ода «Вольность», анапест 1819 года, по-новому понятый дух антологии в стихах «Дорида», «Дориде», «Нереида», ранний байронизм в стихах «Погасло дневное светило», затем вскоре – амфибрахические двустишия «Черной шали», октавы «Желания» и т. п.). Но только со времени Кишинева и особенно в вынужденном уединении Михайловского наступила пора для Пушкина широко, полно отдаться всем своим влечениям, как мастера слова и как творца новой русской литературы.

Пересматривая с этой точки зрения наследие Пушкина, раньше всего изумляешься разнообразию, скорей – исчерпывающему многообразию тех влияний, какие проникали в его поэзию. В ней отразился весь мир, хотя она и осталась сама собой, выросла во что-то новое, раньше небывалое. Лишь у очень немногих поэтов мировой литературы можно видеть, при внутреннем единстве «пушкинского стиля», такое количество самых разнообразных, порой как бы противоречащих один другому «стилей». Вспоминается, конечно, Гете, но ему судьба дала свыше 80 лет жизни и почти 70 творчества, тогда как вся деятельность Пушкина втиснута меньше чем в 25, включая и опыты школьника (1812 г., 1814–1836 гг.).

Можно бегло обозреть всю историю человечества, весь цикл разноязычных литератур, и почти отовсюду найдешь отголоски в творчестве Пушкина.

Древний Восток звучит в подражаниях «Песне песней», в пародиях на Библию, в «Гаврилиаде», в таких отрывках, как «Юдифь», и др.

Античный мир богато представлен ранними и позднейшими подражаниями и переводами. Кроме самостоятельных стихотворений на античные темы и в духе древних (так называемые «антологические»), кроме «Египетских ночей» и отрывка в манере Тацита – «Цезарь путешествовал…», у Пушкина длинный ряд стихотворений, подсказанных определенными авторами: Анакреонт, Афеней, Ксенофан, Ион, Ювенал, Катулл, Гораций и др.

Средние века представлены подражаниями Данту (вернее – пародией на «Б<ожественную> комедию»), песенками в так

называемых «Сценах из рыцарских времен» (особенно: «Жил на свете рыцарь бедный…»), планом «Папессы Иоанны», картинами в «Скупом рыцаре», отдельными набросками («Из Рима ехал он домой…» и др.). Во всех этих произведениях много элементов, подсказанных литературой средневековья, заимствованных из нее.

Новый Восток выступает с разных сторон: здесь и Турция («Стамбул гяуры нынче славят…»), и арабская поэзия («Подражание арабскому»), и Персия («Из Гафиза»). Сюда же должно отнести «Татарскую песню» из «Бахчисарайского фонтана», отдельные места кавказских поэм, ряд набросков, среди которых превосходен «В прохладе сладостных фонтанов». Есть отголосок и Дальнего Востока в отрывке: «Мудрец Китая…»

Францию Пушкин знал особенно хорошо: он перенимал манеру Вольтера, Парни, А. Шенье, отчасти Экушара-Лебрена, Маро и др.; он брал у Мериме, брал у начинавших тогда французских романтиков, не исключая Гюго и Мюссе. Так же полно отразилась Англия: Байрон (в поэмах), Шекспир (в драмах), Барри Корнуэль, Т. Мур, затем Уильсон («Пир»), отчасти Соути («Медок»), наконец, английский роман («Русский Пелам»). У итальянцев Пушкин, кроме Данте, находил образцы у Ариосто, у Альфиери, у Пиндемонте. Шекспировская Италия дана в «Анджело». В Испании Пушкин взял народную балладу («Родриг»), романсы («Ночной зефир», «Я здесь, Инезилья» и др.), замысел «Каменного гостя». В Португалии – песенку Гонзаго. В Шотландии – песни Оссиана и народную песенку («Ворон к ворону летит»). Скандинавия – Финляндия дали «Вадима». Германия, с которой Пушкин, как известно, был мало знаком, отразилась в подражаниях Гете («Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем», «Фауст в аду»), в замысле «Марии Шонинг», в драме «Моцарт и Сальери».

Само собой разумеется, что особенно полно представлено у Пушкина то, что связано с Россией и со славянством. Здесь на первом месте надо поставить «Песни западных славян», – это мастерское воссоздание народной поэзии по неточным подражаниям Мериме. Преодолеть неверность французского перевода и угадать истинную сущность «сербской» песни – такова была задача великого мастера, и он разрешил ее. Есть места в «Песнях», где Пушкин ближе к подлиннику (ему неизвестному), чем перевод Мериме.

Польша и Литва, бывшие тогда частью России, представлены в переводах из Мицкевича. Манера великого польского поэта схвачена в них с полной точностью, и никакие позднейшие переводы не могут заменить пушкинских «Воеводу» и «Будрыса».

Напомним также, что вступление «Медного Всадника» – определенный «ответ» Мицкевичу, где русский поэт идет шаг за шагом за польским.

Отдельные местности России едва ли не все имеют своих представителей в творчестве Пушкина: Украина («Полтава» и несколько лирических стихотворений), Бессарабия («Цыгане» и также ряд стихотворений), Урал («Капитанская дочка» и др.), Дон («Здравствуй, Дон…», «Был и я среди донцов…»), Волга и Каспий (Путешествие Онегина), Одесса («Е<вгений> Онегин» и много стихотворений), центральная Россия и Москва (опять «Онегин»), Тверская и Псковская губернии (Михайловское и Болдино), Петербург (Пушкин был его поэтом по преимуществу), наконец, как уже говорилось, Кавказ, Крым и Черное море.

Народную русскую песню Пушкин усердно собирал и подражал ей с таким мастерством, что поныне не вполне отделено «собранное» от «сочиненного». Такие песни, как «Только что на проталинах весенних…», могут считаться равными народному творчеству. Среди не то записанных, не то написанных песен есть и свадебные, и заплачки, и монастырские, и разбойничьи. Складом народной песни написана одна сцена в «Русалке» и песня в той же драме. Складом «сербских песен» – «Сказка о золотой рыбке»; в других сказках взята манера народной поэзии и ее типичные черты. Народный эпос повторен в «Песнях о Стеньке Разине». Отдельно стоит набросок «Сват Иван, как пить мы станем…» и «Сказка о медведице».

Пушкин, однако, не ограничивался устным народным творчеством. В его библиотеке оказалось немало «песенников», и для «Капитанской дочки» и других повестей Пушкин взял оттуда ряд эпиграфов. В духе этих песен, т. е. в духе зарождавшейся тогда «частушки», он написал сам песню «Вышла Дуня на дорогу», которая первоначально занимала в «Евгении Онегине» место позднейшей «Девицы-подруженьки». Наша письменность XVII века оставила следы на некоторых сценах «Бориса», например, «В корчме», в песенке юродивого, в сцене, где пиит подносит вирши самозванцу. Складом раешников сложена «Сказка о Балде», где, между прочим, употреблены рифмы с ударением на 4-м и 5-м слоге от конца (ипердактилические, первый пример чего есть у Пушкина еще в эпиграмме на Стурдзу).

III

В этом беглом перечне указаны далеко не все литературные влияния. Во-первых, многое отразилось лишь в частностях, в деталях того или другого произведения. Во-вторых, некоторые – не очевидны, и наличие их надобно отдельно показать.

Что такое, например, «Песнь о вещем Олеге»? По форме это, несомненно, – «романтическая баллада», такая, какие особенно охотно писал Шиллер. Более чем вероятно, что знакомство с балладами Шиллера и было тем стимулом, который повел к созданию «Песни». Пушкин, прочтя эти баллады, вероятно, в переводе Жуковского (изд. «Для немногих»), задумался, можно ли подобную же балладу создать не из древнегерманских, а из древнерусских преданий. Чтение Карамзина дало только сюжет, а побудительной причиной творить было – искание на русском языке форм шиллеровской баллады. На это указывает и размер «Песни», тот же, как, например, в балладе «Торжественным Ахен весельем шумел», – для Пушкина не совсем обычный.

Более несомненно – сходное влияние на двух сценах «Бориса Годунова». Одна между Мариной и Рузей. Рифмованный разностопный стих, его движение, стиль разговорной речи, – все сразу указывает на «Горе от ума». Пушкин слышал чтение грибоедовской комедии, и ему захотелось самому испробовать свои силы в том же роде. «Сумею ли я писать, как Грибоедов?» – так приблизительно спросил себя Пушкин: результатом была новая сцена в «Борисе». Другая – «Ограда монастырская» – должна была возникнуть под влиянием испанских трагедий. Ее размер, резко отличный от диалога англо-немецких драм, 8-стопный хорей, – обычный размер драм Кальдерона. Когда познакомился Пушкин с подлинниками испанских трагедий, мы не знаем. Но его должен был поразить размер их стиха, с первого взгляда словно не подходящий для диалога. Мастеру захотелось испробовать, возможно ли этим размером вести диалог по-русски, – и к «Борису» прибавилась еще сцена. Надо при этом отметить, что эти две сцены, с Рузей и за оградой, слабо связаны с общим ходом действия, и в первое издание трагедии Пушкиным не были включены.

Стремлением испробовать свои силы в определенном размере стиха можно объяснить наброски двух комедий, один 1821 г., другой 1825 года, особенно первый. Эти наброски 1821 года («Скажи, какой судьбой…» и т. д.) написаны правильным александрийским стихом, тем, который господствовал в нашей драме до Грибоедова и самого Пушкина. Недостатки этого стиха в

диалоге ощущались в то время очень остро, было уже общим местом, что русский 6-стопный ямб с парными рифмами – только условная замена французских александрин. По-видимому, Пушкина соблазняла мысль – воскресить этот опозоренный стих, доказать, что под пером искусного мастера он может стать живым и естественным. К сожалению, сделав опыт, убедившись, что цель достижима, Пушкин охладел к своей задаче и бросил начатую комедию. Как художника, его увлекла не тема, а форма; овладев формой, он сделал все, что ему было надо. Работать же, не имея перед собой художественной задачи, он не умел. В этом смысле Пушкин и называл себя «ленивцем» («А я, ленивец, вечно праздный…»).

Такими же пробами себя в том или ином метре являются наброски «О Гелиос, внемли…» (гексаметр 1822 г.) и «Кормом, стойлами, надзором…» (5-стопный хорей 1825 г.); пробами в определенной «форме» – октавы «Домика в Коломне», о чем Пушкин говорит подробно сам (хотя уже раньше пробовал свои силы в октавах), терцины «В начале жизни», три сонета 1830 года, ряд черновых набросков, из которых особенно характерен «Не розу пафосскую» (1830 г.), где сделана попытка рифмовать через два стиха в третий и взяты для того дактилические рифмы. В других стихотворениях руководящим началом могла явиться рифма. Доказывать это, без подробного анализа отдельных стихотворений, трудно, но что Пушкину такой подход не был чужд, доказывают наброски «Мы наслаждение удвоим…» и другие, связанные с ним.

В иных случаях вполне очевидно, что Пушкин только делал пробу, только усваивал себе манеру чужого произведения. Так до нас дошло начало перевода «Pucelle» Вольтера. Нельзя же думать, что Пушкин намеревался перевести всю эту огромную, – и достаточно скучную, – поэму! Испробовав, как язык «Орлеанки» звучит по-русски, Пушкин не продолжал перевода. То же сделал он с одним монологом Альфиери. Может быть, к той же группе должно отнести начала переводов «Медок в Уаллах», «В Юрзуфе бедный Музульман» и др.

Особенно часто наброски Пушкина легко объясняются желанием великого поэта усвоить манеру чужого произведения. Таково переложение в стихи прозаического перевода Батюшкова из «Орландо» Ариосто. Таково, может быть, происхождение песенки «Из Гонзаго». По своему складу эта песенка – типичная «частушка», что подтверждается ее отдельными выражениями («роза процвела» и т. под.). Применить склад частушки к португальской песне – задача, которая могла увлечь художника. Подобно этому в «Анджело» надо видеть попытку преломить

Италию сквозь призму английских взглядов, т. е. повторить в этом отношении Шекспира.

Этот взгляд объясняет, между прочим, несколько произведений Пушкина, до последнего времени остававшихся загадочными. В конце жизни Пушкина занимала мысль – сопоставить в большом художественном создании идеи язычества и христианства. К этой мысли он подходил в «Га-лубе» и в «Египетских ночах». Но чтобы полнее усвоить себе оба миросозерцания, языческое (античное) и христианское, он писал ряд подготовительных этюдов.

Античные этюды – общеизвестны и всегда признавались за таковые. По смерти Пушкина оказался в одном конверте ряд переводов из древних: из Афенея, Анакреона, Ксенофана, Иона и др. Сюда же надо отнести подражания Катуллу, Горацию и прозаический отрывок, подражание Тациту «Цезарь путешествовал…».

Иначе отнеслись исследователи к другому ряду этюдов, тех, в которых Пушкин «зарисовывал» разные черты христианского миросозерцания. Таков перевод из Буньяна «Странник», такова ода «Из VI Пиндемонте», затем «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался…»), «Молитва» («Отцы пустынники»). В этих стихах хотели видеть проявление религиозности Пушкина, который будто бы в конце жизни стал «глубоко верующим», мало того – «православно верующим». Между тем эти стихи не более говорят о христианстве Пушкина, чем переводы из Анакреона об его язычестве.

IV

Выше было сказано, что Пушкин не только «творил прекрасное» (по выражению Баратынского); перед Пушкиным стояла еще задача: создать русскую литературу. И, словно предчувствуя краткость своей жизни, он спешил дать образцы во всех областях, во всех родах. Он дал нам лирику, лирическую поэму, драму, повесть, новеллу; дал подражания народному, дал примеры различных литератур; дал наброски комедии, наброски сатиры, наброски дидактической поэмы и т. д. Пушкин испробовал едва ли не все возможные по-русски размеры, разнообразные формы (октава, сонет, терцины, стансы, ода и т. под.), разнообразнейшие виды рифм (о чем мы не имеем места говорить) и их сочетаний.

Но, помимо того, Пушкин, с такой же успешностью, воплощал в одном себе целые литературные школы. В ранних опытах Пушкина мы находим существенные черты псевдоклассицизма («Воспоминания в Царском Селе», «Сон», из Маро, из Вольтера, ряд посланий и др.). Рядом стоят у Пушкина другие литературные течения XVIII века, легкая французская лирика в духе Парни, эпиграмма, лженародность в духе Хераскова («Бова»), сентиментализм в духе Карамзина («Под вечер осени ненастной…»).

За этим следует движение русских новаторов, предшественников романтизма («Арзамас»). Известно, что Пушкин заплатил ему самую щедрую дань. Он писал в духе Жуковского, Батюшкова, Вяземского – характернее, чем они сами («Благослови, поэт…», «В пещерах Геликона», «Городок» и мн. др.).

Романтизм имеет в Пушкине одного из крупнейших своих представителей. Можно найти у Пушкина образцы всех наиболее существенных для романтизма настроений: национализм (подражание народным песням, русским и нерусским), увлечение эпохой рыцарства («Сраженный рыцарь», «Песнь о вещем Олеге», «Родриг»), экзотика (Италия, Испания, Восток), мистика («Жил на свете рыцарь бедный…»), разочарование (байронические поэмы), индивидуализм (вся лирика 20-х годов), так называемая «стихийность» («К морю» и др.), шекспиризм («Борис Годунов», маленькие драмы) и т. д.; самое понимание поэта и его призвания у Пушкина чисто романтическое, подготовленное немецкой идеалистической философией («Пока не требует поэта…», «Пророк», «Поэту» и др.). Не говорим уже о том, что техника Пушкина в 20-х годах всецело романтическая.

С 30-х годов Пушкин выступает основателем реализма. Нет надобности перечислять, что сделано в этом направлении автором «Повестей Белкина» и «Дубровского». Несомненно, бытовые сцены «Евгения Онегина», «Домика в Коломне», «Медного всадника», да и «Галуба» – все это произведения писателя-реалиста, как и ряд начатых Пушкиным «петербургских новелл». Тот же реалистический подход явен в большинстве стихотворений Пушкина последних лет его жизни («Вновь я посетил…», «Когда за городом, задумчив, я брожу…» и др.).

Но и реализм не был пределом, которым завершилась эволюция Пушкина. Мы можем найти в его творчестве элементы других течений, развившихся лишь позже, лишь после его жизни. Так, некоторые черты народничества уже сказываются не только в Пушкине – собирателе народных песен, но и в «Истории села Горюхина» (где она перестает быть сатирой), в статьях о Радищеве и др. Славянофилы считали Пушкина в числе своих предшественников, ссылаясь на «Бородинскую годовщину», на «Пир Петра Великого», на «Олегов щит» и т. п. Натуралисты могли бы привести стихотворение «Румяный критик мой, насмешник толстопузый», да и «Когда за городом».

Этого мало. Тоже известно, что «своим» признавали Пушкина также декаденты и символисты. Положим, декадентам приходилось ссылаться лишь на отдельные выражения (особенно из стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума…»), но символисты могли привести немало доказательств в защиту своей родословной. Набросок «В начале жизни…» заключает поразительную аналогию с идеями Ницше: противоположение Аполлона и Диониса. «Гимн чуме» – вполне в духе настроений, господствовавших среди символистов («Все, все, что гибелью грозит…» и т. д.). Отдельные стихотворения явно построены по методу символа или в манере импрессионизма («Люблю ваш сумрак неизвестный…», «Лишь розы увядают…» и др.

Когда позднее будет вскрыто истинное значение нашего футуризма, станет ясно, что основное его устремление тоже не было чуждо Пушкину. Но в пору современных споров еще не настало время говорить об этом.

Остается добавить, что многие, самые значительные из позднейших созданий русской литературы, в сущности, развивают темы, данные Пушкиным. Петербургские повести Гоголя вышли из внешних описаний «Медного всадника». Напротив, идея «Медного всадника» целиком легла в основу «Преступления и наказания»: имеет ли право человек, ради целей, которые он считает высокими, жертвовать жизнью другого человека? (Петр – Раскольников, бедный Евгений – старуха-

процентщица). Идея «Цыган» повторена в «Анне Карениной». Идея «Египетских ночей» еще ждет гения, который сумел бы ее претворить.

Карамзин говорил, что, изучая русскую историю, он встречал много вопросов, разрешить которые не имел времени и которые оставлял будущим исследователям. Так и Пушкин, творя русскую литературу, видел множество возможностей, использовать которые все не мог. Ему не было даровано, как Гете, чуть ли не 70 лет деятельности. Пушкин прокладывал широкую дорогу русской литературе, но по пути намечал тропинки в сторону, шел по ним до известной границы, ставил там свою отметку с надписью: «я здесь был, я эту тропу знал». Многочисленные незаконченные наброски Пушкина, отрывки, брошенные четверостишия, недоговоренные строки, единичные стихи и суть эти надписи и отметки. По ним мы видим, что Пушкин в 20-х и в 30-х годах доходил уже до наших дней, а может быть, заглядывал и дальше,

1924

Семен Франк
Пушкин как политический мыслитель

Пушкин, как всякий истинный гений, живет в веках. Он не умирает, а, напротив, не только вообще продолжает жить в национальной памяти, но именно в смены эпох воскресает к новой жизни. Каждая эпоха видит и ценит в нем то, что ей доступно и нужно, и потому новая эпоха может открыть в его духовном образе то, что оставалось недоступным прежним.

Это положение, имеющее силу в отношении гениев вообще, в особой мере приложимо к Пушкину. Нет ни малейшего сомнения, что Пушкин, не только как поэт, но и как духовная личность, далеко опередил русское национальное сознание. По меткому выражению Гоголя, он явил в себе духовный тип русского человека, каким последний осуществится, может быть, через 200 лет. Теперь нам совершенно очевидно, что Пушкин, с первых же шагов своего творчества приобретший славу первого, несравненного, величайшего русского поэта (приговор Жуковского, предоставившего ему в 1824 году «первое место на русском Парнасе», никем не был оспорен и остается в силе до появления нового Пушкина), оставался в течение всего XIX века недооцененным в русском общественном сознании. Он оказал, правда, огромное влияние на русскую литературу, но не оказал почти никакого влияния на историю русской мысли, русской духовной культуры. В XIX веке и, в общем, до наших дней русская мысль, русская духовная культура шли по иным, непушкинским путям. Писаревское отрицание Пушкина – не как поэта, а вместе со всякой истинной поэзией, следовательно, отрицание пушкинского духовного типа – было лишь самым ярким, непосредственно бросавшимся в глаза, эпизодом гораздо более распространенного, типичного для всего русского умонастроения второй половины XIX века отрицательного, пренебрежительного или равнодушного отношения к духовному облику Пушкинского гения. В других наших работах о Пушкине, нам приходилось уже настойчиво возобновлять призывы Мережковского («Вечные спутники», 1897) и Гершензона («Мудрость Пушкина», 1919) – вникнуть в доселе непонятное и недооцененное духовное содержание пушкинского творчества. Задача заключается в том, чтобы перестать, наконец, смотреть на Пушкина как на «чистого» поэта в банальном смысле этого слова, т. е. как на поэта,

чарующего нас «сладкими звуками» и прекрасными образами, но не говорящего нам ничего духовно особенно значительного и ценного, и научиться усматривать и в самой поэзии Пушкина, и за ее пределами (в прозаических работах и набросках Пушкина, в его письмах и достоверно дошедших до нас устных высказываниях) таящееся в них огромное, оригинальное и неоцененное духовное содержание.

Семён Франк

В предлагаемом кратком этюде мы хотели бы обратить внимание читателя на политическое мировоззрение Пушкина, на его значение как политического мыслителя. Эта тема – по крайней мере в синтетической форме – кажется, почти еще не ставилась в литературе о Пушкине. Тщетно также стали бы мы искать главы о Пушкине в многочисленных «историях русской мысли», которые, как известно, в значительной мере были историями русских политических идей. История русской мысли, с интересом и вниманием исследовавшая и самые узкие и грубые, и самые фантастические общественно-этические построения русских умов, молча проходила мимо Пушкина. Кроме упомянутого выше общего пренебрежения к духовному содержанию пушкинского творчества, этому содействовало, конечно, и то, что вплоть до революции 1917 года русская политическая мысль шла путями совершенно иными, чем политическая мысль Пушкина. Когда же приходилось поневоле вспоминать о Пушкине – пишущему эти строки памятна из дней его юности юбилейная литература 1899 года, – то, из нежелания

честно сознаться в этом расхождении и иметь против себя авторитет великого национального поэта, оставалось лишь либо тенденциозно искажать общественное мировоззрение Пушкина, либо же ограничиться общими ссылками на «вольнолюбие» поэта и политические преследования, которым он подвергался, а также на «гуманный дух» его поэзии, на «чувства добрые», которые он, по собственному признанию, «пробуждал» своей «лирой».

Можно надеяться, что та огромная, неисчислимая в своих последствиях, встряска, которую русское независимое общественное сознание испытало в катастрофе, тянущейся с 1917 года до наших дней, будет благотворна и для пересмотра обычного отношения к политическому мировоззрению Пушкина. Дело идет, конечно, не о том, чтобы на новый лад искать в авторитете Пушкина санкции для новых, возникших после 1917 года, русских политических исканий и стремлений. Хотя Пушкин в некоторых основных духовных своих мотивах и в этой области может и должен быть и теперь нашим учителем, но, само собою разумеется, что даже величайший и самый прозорливый гений не может быть руководителем в конкретных политических вопросах для эпохи, отдаленной от его смерти целым столетием – и каким столетием! Дело идет лишь о том, чтобы научиться наконец добросовестно и духовно свободно понимать и оценивать политическое мировоззрение Пушкина, вникая в него sineiraetstudio как в изумительное историческое явление русской мысли. Каково бы ни было политическое мировоззрение каждого из нас, пиэтет к Пушкину во всяком случае требует от нас беспристрастного внимания и к его политическим идеям, хотя бы в порядке частного исторического познания. И для всякого, кто в таком умонастроении приступит к изучению политических идей Пушкина, станет бесспорным то, что для остальных может показаться нелепым парадоксом: величайший русский поэт был также совершенно оригинальным и, можно смело сказать, величайшим русским политическим мыслителем XIX века.

Нижеследующие строки имеют своей задачей, хотя бы отчасти и лишь в самых общих чертах, содействовать укреплению в читателе этого сознания.

I

Политическое развитие Пушкина можно в общих чертах определить довольно точно. Этапы его примерно совпадают с основными этапами жизни поэта (так же, как этапы его общего, поэтического и духовного развития). Эпоха юношеская, лицейско-петербургская до высылки из Петербурга в мае 1820 г., – эпоха кишиневская (1820–1823), – эпоха одесская (1823–1824), – эпоха уединения в Михайловском (осень 1824 по осень 1826 г.) – и наконец, эпоха последней зрелости, в которой год женитьбы и начала оседлой жизни в Петербурге (1831) образует также еще некоторую грань, – таковы разделы внешней жизни поэта, в которые без натяжки укладываются и основные этапы его духовного – и вместе с ним политического – развития. Мы проследим вкратце это последнее, чтобы затем перейти к систематическому изложению окрепшего в нем политического мировоззрения последнего 10-летия его жизни.

Известно, что Пушкин созрел умственно необычайно рано. А. Смирнова приводит чрезвычайно проницательные слова Жуковского: «Когда Пушкину было 18 лет, он думал, как 30-летний человек; ум его созрел гораздо раньше, чем характер». Уже 13-летним мальчиком Пушкин пережил сознательно патриотическое возбуждение 1812 года, и, конечно, еще более сознательно – победоносное возвращение Александра I и русской армии в 1815 году. В наступившем после этого политическом брожении и либеральном возбуждении юноша Пушкин участвовал, несомненно, с большей умственной – если не духовной – зрелостью, чем большинство его старших современников. Счастливая судьба свела его в 1816 г. в доме Карамзина с Чаадаевым, который, конечно, и тогда уже стоял неизмеримо выше среднего уровня гвардейской офицерской молодежи. Чаадаев сразу же становится, как известно, моральным и политическим наставником юного Пушкина. Этим определяется первое политическое умонастроение Пушкина, которое, как у всего тогдашнего поколения молодежи, основано на сочетании патриотического подъема с довольно неопределенными «вольнолюбивыми мечтами». Позднее в одной неоконченной повести Пушкин с легкой иронией вспоминал, что «в 18-м году были в моде строгость нравов и политическая экономия» (под «политической экономией» надо разуметь, очевидно, либеральную систему Адама Смита, которую изучал и Евгений Онегин, и, вероятно, проблему освобождения крестьян, поднятую в известной записке Николая Тургенева). Для этой эпохи – как и

для позднейших годов пушкинской юности – надо, впрочем, различать между серьезными мыслями, которые в связи с влиянием Чаадаева зрели в душевной глубине юного Пушкина, и внешними бурными проявлениями радикализма в мальчишески-озорных выходках и «возмутительных» стихотворениях. «Строгость нравов» при темпераменте Пушкина, конечно, не имела особого влияния на его тогдашнюю жизнь. «Вольнолюбивые мечты», напротив, соединялись в ту пору у Пушкина, как известно, с буйным молодым весельем и в этом слое душевной жизни явно не имели серьезного значения. Наряду с этим внешним «вольнодумством» в порядке молодого озорства (за что он и был выслан из Петербурга), мы имеем основание признать у Пушкина и серьезные «вольнолюбивые мечты», как они поэтически выражены в трогательном раздумье о положении крестьян и мечте об их освобождении («Деревня», 1819) и в грезе о «заре пленительного счастья», именно о крушении «самовластья» (первое послание Чаадаеву, 1818). Политические идеалы Пушкина были, в сущности, и тогда довольно умеренными: они сводились, помимо освобождения крестьян, к идее конституционной монархии, к господству над царями «вечного закона» («Вольность», 1819).

Первые годы высылки, именно кишиневская эпоха, есть, может быть, единственный период жизни Пушкина, когда он склонялся к политическому радикализму. Правда, ближайшим образом высылка приводит к некоторому меланхолическому охлаждению политических мечтаний, о котором свидетельствует второе послание к Чаадаеву из Крыма, 1820, где говорится о «сердце, бурями смиренном». Политические интересы, однако, вскоре снова страстно заговорили в душе Пушкина. В декабре 1820 года он пишет из Каменки Гнедичу, что его время протекает «между аристократическими обедами и демагогическими спорами» в обществе людей, которых он называет «умами оригинальными», людьми, «известными в нашей России». То были, очевидно, кроме членов семьи Раевских и Давыдовых, будущие члены «южного общества». В марте 1821 г., в письме из Кишинева к А.Н. Раевскому, он с увлечением говорит о греческом восстании. Замечательно свидетельство одной записи кишиневского дневника того же года об увлечении Пушкина Пестелем, которого он называет «умным человеком во всем смысле слова», «одним из самых оригинальных умов, которых он знает». Известно также, – со слов самого Пушкина (Переписка, I, 318) – что Пушкин «был масон, член кишиневской ложи, т. е. той, за которую уничтожены в России все ложи».

Политическое миросозерцание Пушкина той эпохи изложено

им в необычайно интересных «Исторических замечаниях» 1822 г. Эти «замечания» суть размышления о политической судьбе России после Петра Великого. Впервые в творчестве Пушкина здесь раздается нота восхищения Петром, пока еще, однако, довольно сдержанного. Пушкин резко противопоставляет «северного исполина» его «ничтожным наследникам». Вызванное им к жизни огромное движение государственно-культурного обновления продолжалось как бы по сильной инерции при его преемниках, «между тем как азиатское невежество обитало при дворе». Славному царствованию Петра, этого «самовластного Государя» с «необыкновенной душой», противопоставляются царствования «безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елизаветы». Но особенно резко суждение Пушкина о царствовании Екатерины II. Сочувствуя (с очень интересными оговорками, на которых мы не можем здесь останавливаться) ее внешней политике и иронически указывая, что она «заслуживает удивления потомства», «если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться», Пушкин с величайшим негодованием говорит о порочности Екатерины, о жестокости «ее деспотизма под личиной кротости и терпимости», о ничтожности и ошибках ее законодательства, о расхищении казны, закрепощении Малороссии, о преследовании независимой мысли (Новикова, Радищева, Княжнина), о гонении духовенства и монашества, которому Россия обязана «нашей историей, следовательно и просвещением». «Лицемерный Наказ» Екатерины вызывает «праведное негодование», и Пушкин отказывается понимать «подлость русских писателей», его прославлявших. Созыв депутатов есть для него «непристойно разыгранная фарса». Сношения с философами Запада были «отвратительным фиглярством»; «голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России». «Развратная Государыня развратила и свое государство». Наконец, о царствовании Павла коротко говорится: оно «доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы». «Замечания» кончаются указанием на «славную шутку г-жи де Сталь»: «En Russe le gouvernement est un despotisme mitigéparla strangulation», которую «русские защитники самовластья… принимают… за основание нашей конституции».

Положительные политические идеалы Пушкина и в эту эпоху не идут далее требования конституционной монархии, обеспечивающей свободу, правовой порядок и просвещение. Но умонастроение его, как оно выражено в «Исторических замечаниях», проникнуто моральным негодованием против власти и в этом смысле носит отпечаток политического

радикализма. В одном письме того времени к Вяземскому (2 января 1822, I, 37), рекомендуя ему своего нового приятеля Липранди, который «не любим нашим правительством и в свою очередь не любит его», Пушкин прибавляет: «верная порука за честь и ум».

«Исторические замечания» 1822 г. интересны еще в одном отношении: в них намечена одна мысль, которая прямо противоположна позднейшему и окончательному политическому миросозерцанию Пушкина, именно идея антилиберального «народнического» демократизма. При всем своем отрицании самодержавия, Пушкин выражает удовлетворение, что аристократические попытки его ограничения в XVIII веке не удались и что «хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож» – что «спасло нас от чудовищного феодализма». Благодаря этому все классы общества теперь объединены «против общего зла». Мы увидим ниже, что государственное миросозерцание зрелого Пушкина определяется политической идеей, прямо противоположной этой мысли.

Этот «кишиневский» политический радикализм сменяется, однако, очень скоро умонастроением иного рода. Пушкин переживает, примерно со времени переселения в Одессу (1823), не только психологическое охлаждение своих политических чувств и отрезвление, но и существенное изменение своих воззрений: еще в Кишиневе и потом в Одессе он переживает, на основании личных встреч с участниками греческого восстания, глубокое разочарование в последнем. Он увидал в «новых Леонидах» сброд трусливых, невежественных, бесчестных людей. До Петербурга дошли слухи, что Пушкин изменил освященному именем Байрона делу греческого освобождения. Поэт оправдывается в письме к А.Н. Раевскому (июнь 1824, Одесса): «Что бы там ни говорили, ты не должен верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа». «Я не варвар и не апостол Корана, дело Греции меня живо интересует, но именно поэтому меня возмущает вид подлецов (cesmisérables), облеченных священным званием защитников свободы». От самозащиты Пушкин переходит тотчас же к нападению. Упреки петербургских либералов дают ему повод выразить общую мысль о ценности ходячих общественных суждений: «Люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую все-таки не худо повторить. – Они редко терпят противоречие, никогда не прощают неуважения, они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость; и, к ней привыкнув, уже не могут с

ней расстаться. – Когда что-нибудь является общим мнением, то глупость общая вредит ему столь же, сколько общее единодушие ее поддерживает». Мы имеем в этих словах первое нападение поэта на ходячий тип русского либерального общественного мнения – в известном смысле пророческий в отношении позднейшей формации русской радикальной интеллигенции.

Есть и другие признаки изменения политического настроения Пушкина в одесскую эпоху. Правда, при известии о падении реакционного министра народного просвещения Голицына и замене его Шишковым, у Пушкина вырываются горькие слова: «я и рад и нет. Давно девиз всякого русского есть чем хуже, тем лучше». Но не надо упускать из виду, что здесь дело идет о свободе печати, к которой Пушкин и в позднейшие годы, при всей умеренности и консерватизме своих воззрений, был особенно чувствителен. Для общего политического настроения Пушкина существенны другие признаки. Прежде всего – разочарование в возможности успешной пропаганды свободы, как оно выразилось в известном стихотворении: «Свободы сеятель пустынный» (1823). В письме к А.И. Тургеневу от 1 декабря этого года, посылая ему оду на смерть Наполеона, Пушкин пишет по поводу последних его стихов («…и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал»): «Эта строфа ныне не имеет смысла, но она написана в начале 1821 года, – впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басни умеренного демократа И.Х. („изыде сеятель сеяти семена свои“)» (дальше приводятся стихи «Свободы сеятель пустынный») (I, 91). Интересно еще одно указание, свидетельствующее об изменении по существу политических идей Пушкина. В Одессе он встретился с известным консервативно-религиозным писателем Стурдзою, которого он в 1819 году высмеял в эпиграмме, как «библического и монархического». Теперь он пишет Вяземскому (23 октября 1823, I, 78): «Здесь Стурдза монархический; я с ним не только приятель, но кой о чем и мыслим одинаково, не лукавя друг перед другом». Этому изменению воззрений Пушкина в сторону консерватизма лишь кажущимся образом противоречит известное письмо об атеизме, вызвавшее удаление Пушкина со службы и ссылку в Михайловское. Не только он вскоре позднее называет это письмо «легкомысленным», не только речь идет здесь о чисто религиозной проблеме, но в самом письме слышны – обыкновенно незамечаемые – ноты умонастроения, идущие вразрез с ходячим мировоззрением «просветительного» либерализма, влияние которого Пушкин испытал в ранней молодости. Своего наставника в атеизме «англичанина, глухого философа» он называет «единственным умным афеем, которого я

еще встретил», а о самом мировоззрении он отзывается: «Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастию, более всего правдоподобная» (I, 103). Сердце Пушкина влеклось, очевидно, уже в то время к совсем иному мировоззрению. Осенью 1824 года, уже из Михайловского, он пишет приятелю молодости Н.И. Кривцову: «Правда ли, что ты стал аристократом? – Это дело. Но не забывай демократических друзей 1818 года… Все мы переменились» (I, 135).

Эпоха уединения в Михайловском (1824–1826) может считаться эпохой решающего духовного созревания поэта; в связи с последним стоит и созревание политическое. Правда, внешние условия жизни Пушкина были мало для этого благоприятны. Именно в эти годы, раздраженный надзором полиции и, в особенности, столкновениями с ограниченным отцом, который взял на себя наблюдение за его поведением и просмотр его писем, и томясь, как узник, в вынужденном заключении, Пушкин переживает припадки настоящего бешенства и отчаяния и потому и в политическом настроении обуреваем чувствами раздражения и озлобления. После одного столкновения с отцом, он пишет горькое письмо псковскому губернатору, прося через него царя, как о «последней милости», о заключении его в крепость (I, 141). Жуковского он в то же время просит: «Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем… Я horsdeloi» (I, 142). Не удивительно, что он выражает недоумение, как мог Вяземский «на Руси сохранить свою веселость» (I, 153), что он считает Стеньку Разина «единственным поэтическим лицом русской истории», что по поводу предполагаемой покупки «Собрания русских стихов» за 75 рублей он говорит: «я за всю Русь столько не даю». Он ставит грустный вопрос: «что мне в России делать?» (I, 314), мечтает бежать за границу и даже строит с этой целью сложный конспиративный план. Письма его полны выражений тоски, отчаяния и шутливо-серьезной мольбы о спасении («батюшки, помогите!»). Не удивительно, что горечью проникнуто и его политическое умонастроение. Когда Вяземский, по случаю смерти Карамзина, называет оппозиционно-настроенных противников историка «сорванцами и подлецами», то Пушкин отвечает:

«Ах, милый…, слышишь обвинение и не слышишь оправдания и решаешь: это шемякин суд. Если уж Вяземский etc., так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю» (I, 358). Резко отрицательное отношение к Александру I не оставляет Пушкина и после смерти царя. По поводу известия о стихах Жуковского на смерть царя, он пишет иронически Жуковскому: «Предмет богатый. Но в течение 10 лет его царствования лира

твоя молчала. Это лучший упрек ему… Следственно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба» (I, 319).

Если, однако, оставить в стороне и личную горечь поэта, и обусловленное ею настроение общей оппозиционности, и убежденно отрицательное отношение к личности Александра I (следы которого мы находим и гораздо позднее, в течение всей жизни поэта; только в «Медном всаднике» 1834 и в стихотворении «19 октября 1836» это чувство вытесняется воспоминанием о славе его царствования), – то нетрудно подметить в более глубоком слое духовной жизни поэта серьезное созревание его политического мировоззрения – и притом в сторону консерватизма. Главным памятником его является драма «Борис Годунов»; Пушкин сам пишет, что она написана «в хорошем духе», хотя он и «не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого: торчат!» (I, 301). Изучение истории Смуты приводит его к одному убеждению, которое является позднее основополагающим для его политического мировоззрения – к убеждению, что монархия есть в народном сознании фундамент русской политической жизни. Любопытна в этом отношении характеристика Пимена: «В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях, простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, набожность к власти Царя, данной от Бога… Мне казалось, что сей характер, все вместе, нов и знаком – для русского сердца» (II, 19). И хотя Пушкин, как поэт, протестует против ограниченности читателей, приписывающих драматургу политические мнения его героев, однако не подлежит сомнению, что погружение в русскую политическую историю XVI–XVII веков углубило и собственное политическое мировоззрение Пушкина. Итог его развития сказывается в суждениях Пушкина о декабрьском восстании и его подавлении, и в связи с этим – о революции вообще. Хотя он волнуется и страдает за участь своих друзей, он все же далек от солидаризации с их политическими страстями. Если учесть безграничное мужество и правдивость Пушкина, если вспомнить, что Николаю I, при первом свидании с ним, от которого зависела вся судьба поэта, он открыто сказал, что, если бы был в Петербурге, он не мог бы отречься от своих друзей и принял бы участие в восстании – что даже в официальном, предназначенном для царя, письме к Жуковскому в январе 1826 г., прося его исходатайствовать у нового царя амнистию, он откровенно перечисляет свои «вины» – дружбу с «неблагонадежными» лицами, участие в кишиневской ложе, связь «с большей частью нынешних заговорщиков», но вместе с тем подчеркивает, что Александр I, сослав его, «мог упрекнуть» его «только в безверии» (I, 318), важны признания поэта, которым,

повторяем, можно вполне верить. Он «никогда не проповедывал ни возмущений, ни революции – напротив» и «желал бы вполне и искренно помириться с правительством» (Дельвигу, февраль 1826, I, 326). В совершенно интимном письме к Вяземскому та же мысль выражена еще острее: «Бунт и революция мне никогда не нравились» (июнь 1826, I, 358). Отношение Пушкина к декабристам и декабристскому движению было вообще сложным. В ранней молодости он огорчался и оскорблялся, что его друзья и школьные товарищи не хотели включить его в состав заговорщиков (ср. Воспоминания Пущина). Уже этот факт – непосвящения Пушкина в заговор – необъясним одной ссылкой на недоверие к Пушкину за его легкомыслие: мало ли легкомысленных и даже прямо морально недостойных людей было в составе заговорщиков! Он свидетельствует, что друзья Пушкина с чуткостью, за которую им должна быть благодарна Россия, улавливали уже тогда, что по существу своего духа он не мог быть заговорщиком. Позднее, в отрывках 10-й главы Онегина, Пушкин дал уничижающую характеристику декабристов: «…Все это были разговоры, и не входила глубоко в сердца мятежные наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов». Но и уже тотчас же после крушения восстания Пушкин пишет Дельвигу замечательные слова, выражающие истинное существо его духа, органически неспособного к партийному фанатизму. Сожалея об участи друзей, надеясь на великодушие царя к участникам преодоленного восстания, он прибавляет: «Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (февраль 1826, I, 326). Уже тогда в Пушкине, очевидно, выработалась какая-то совершенно исключительная нравственная и государственная зрелость, беспартийно-человеческий, исторический, «шекспировский» взгляд на политическую бурю декабря 1825 г.

С воцарением Николая I меняется, как известно, общественное положение Пушкина; и его отношение к личности нового царя было с самого начала и до конца жизни поэта, несмотря на множество разочарований, обид и раздражений, совершенно иным, чем к личности Александра. Царь, как известно, сначала обласкал его, даровал ему свободу, обещал избавить от мелочных придирок цензуры, взяв на себя самого роль его «единственного цензора»; фактически он его отдал под внешне вежливую, но унизительную и придирчиво-враждебную опеку Бенкендорфа, в силу которой не только литературная деятельность, но и личная жизнь поэта оставалась до самой его смерти под полицейским надзором. За умеренную записку «О

народном образовании», представленную Пушкиным по поручению царя, – записку, в которой консервативные идеи сочетались с указанием ценности объективного научного образования русских юношей за границей, – он получил через Бенкендорфа пренебрежительную похвалу царя, но и строжайшую нотацию о вредности увлечения «безнравственным и беспокойным» просвещением. Дважды во второй половине 20-х годов «снова собирались тучи» «над главой» поэта: когда некоторые стихи поэмы «Андрэ Шенье», написанной до декабрьского восстания, были приняты за «возмутительную» критику подавления мятежа, и когда правительство напало на след юношеской кощунственной шуточной поэмы «Гавриилиада», – в обоих случаях Пушкину грозила большая опасность, и он меланхолически ставил вопрос, найдет ли он снова «непреклонность и терпение гордой юности моей». И уже в последние годы жизни попытка уйти в отставку, скинуть тяготивший его придворный мундир и осуществить заветную мечту о творческом уединении в деревне вызвала такое негодование царя, что Пушкин должен был просить прощения. Пушкин, искренно чаявший, что, несмотря на смуту и казни начала царствования, в лице Николая Россия обретет достойного преемника Петра, к концу жизни пришел к убеждению, что в Николае есть «beaucoupdu Praporchiqueetunpeudu Pierre le Grand» (дневник 21 мая 1834). Часто Пушкин и в последние годы жизни приходит в отчаяние от русской политической обстановки. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом! Весело, нечего сказать!» – пишет он жене в мае 1836, оценивая свое положение журналиста (III, 316). И все же Пушкин сохранял искреннее доброе чувство к царю. «Побранившись» с царем (из-за прошения об отставке), он не только «трухнул», но ему «и грустно стало»: «долго на него сердиться не умею, хоть и он не прав» (III, 152). Он не хочет, чтобы его могли упрекнуть в неблагодарности: «это хуже либерализма» (III, 154). Взбешенный тем, что полиция вскрывала его письма к жене и доносила их содержание царю, возмущаясь «глубокой безнравственностью в привычках нашего правительства», он более всего удивляется, что царь, «человек благовоспитанный и честный», участвует в этой интриге (Дневник, 10 мая 1834); а жене он пишет по этому же случаю: «на того (царя) я перестал сердиться, потому что, touteréflexionfaite, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в н…, по воле привыкнешь к г…, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman» (III, 128). Выражения трогательной преданности царю на смертном одре безусловно должны быть признаны достоверными, несмотря на попытку Щеголева («Дуэль и смерть

Пушкина») опорочить их источник.

Отчасти в связи с переменой общественного положения Пушкина с начала нового царствования и с отношением к личности Николая, но по существу и независимо от этих случайных условий, просто в силу наступления окончательной духовной – и тем самым и политической – зрелости поэта, политическое миросозерцание Пушкина, начиная с 1826 года, окончательно освобождается и от юношеского бунтарства, и от романтически-либеральной мечтательности и является как глубоко государственное, изумительно мудрое и трезвое сознание, сочетающее принципиальный консерватизм с принципами уважения к свободе личности и к культурному совершенствованию. Сам Пушкин вспоминает о существенном переломе своих идей в 1826 году (в письме к Осиповой 26 дек. 1835, говоря о десятилетии декабрьского восстания, III, 260). Мицкевич, встречавшийся, как известно, с Пушкиным в Москве (с конца 1826 по 1829 г.), в некрологе о Пушкине в газете Le Globe 1837, вспоминая о своем впечатлении от тогдашнего Пушкина, говорит: «Когда он говорил о вопросах иностранной и отечественной политики, можно было подумать, что слышите заматерелого в государственных делах человека, ежедневно читающего отчет о парламентских прениях». Известные нам теперь данные (в особенности драгоценны в этом отношении вновь найденные письма Пушкина к Елизе Хитрово) вполне подтверждают это суждение Мицкевича. Начиная примерно с 1827 года у Пушкина есть сложившееся оригинальное политическое миросозерцание, основанное как на основательном историческом знании (Пушкин был, как известно, прирожденным историком, хотя ему и не удалось осуществить в трудах, достойных его дарования, это призвание; в его библиотеке, описанной Модзалевским, труды по истории занимают одно из первых мест и по числу томов превосходят даже отдел иностранной литературы), так и на напряженно-страстном внимании к текущим событиям европейской и русской политики.

С 1826–1827 гг. политическое мировоззрение Пушкина существенно уже не изменялось; в этом кратком очерке нет надобности особо прослеживать некоторое усиление консервативной тенденции после 1831 г. – в эпоху семейной жизни и относительного упрочнения общественного положения поэта, – ибо оно ничего не изменило по существу в политических идеях поэта. Мы можем поэтому перейти теперь к сжатому систематическому обзору основных догматов политической веры поэта.

II

Общим фундаментом политического мировоззрения Пушкина было национально-патриотическое умонастроение, оформленное как государственное сознание. Этим был обусловлен прежде всего его страстный постоянный интерес к внешнеполитической судьбе России. В этом отношении Пушкин представляет в истории русской политической мысли совершенный уникум среди независимых и оппозиционно настроенных русских писателей XIX века. Пушкин был одним из немногих людей, который остался в этом смысле верен идеалам своей первой юности – идеалам поколения, в начале жизни пережившего патриотическое возбуждение 1812–1815 годов. Большинство сверстников Пушкина к концу 20-х и в 30-х годах утратило это государственно-патриотическое сознание – отчасти в силу властвовавшего над русскими умами в течение всего XIX века инстинктивного ощущения непоколебимой государственной прочности России, отчасти по свойственному уже тогда русской интеллигенции сентиментальному космополитизму и государственному безмыслию. Уже в 1832 году Пушкин выразился в отношении своего отнюдь не радикального друга Вяземского, что он принадлежит к «озлобленным людям, не любящим России», и отметил больное место русского либерализма, упомянув о людях, «стоящих в оппозиции не к правительству, а к России» (запись дневника Муханова; грозное подтверждение этого мнения дает случай высокоодаренного и благородного Печерина, эмигрировавшего в 1835 году и проповедовавшего беспощадную ненависть к России). Из этой позиции Пушкина объясняется его известное отношение к польскому восстанию 1831 года и к попытке европейского вмешательства в русско-польские дела – отношение, вызвавшее суровую критику таких друзей Пушкина, как Вяземский и А. Тургенев, и получившее одобрение лишь Чаадаева и некоторых декабристов. Как бы ни судить по существу о позиции Пушкина в этом вопросе, очевидно, что оно определялось у него сурово-трезвым пониманием государственных интересов России, одержавшим в нем верх над ясным ощущением поэтически-романтической и трагической стороны польского восстания (ср. его письма к Хитрово и письма к другим лицам 1831 года). Один из современников, граф Комаровский, передает, что Пушкин имел в то время озабоченный, угнетенный вид и на вопрос о причинах такого настроения отвечал: «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году?» (Рус. арх.

1879. I. С. 385). В набросках к статье о Радищеве (1833) Пушкин писал: «Ныне нет в Москве мнения народного; ныне бедствия или слава отечества не отзываются в этом сердце России.

Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского восстания; гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбавшихся при вести о наших неудачах» (Рус. старина. 1884. Декабрь. С. 516; ср. умную и основательную статью Б.М. Беляева об отношении Пушкина к польскому восстанию в приложении к «Письмам Пушкина к Хитрово»). В сущности, то же чувство высказал Пушкин уже в 1826 г. в известных словах: «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда… Я конечно презираю отечество мое с головы до ног, – но мне досадно, если иностранец разделяет это чувство» (Письмо к Вяземскому 27 мая 1826, I, 351–352). А под конец жизни, в своем изумительном по исторической и духовной мудрости письме к Чаадаеву в октябре 1836 г., содержащем гениальную критику сурового приговора Чаадаева над русской историей и культурой в его «философическом письме», Пушкин пишет: «Я далек от восхищения всем, что я вижу вокруг себя; как писатель, я огорчен, как человек с предрассудками, я оскорблен; но клянусь вам честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, ни иметь другой истории, чем история наших предков, как ее послал нам Бог» (III, 388).

Художественным памятником этого государственно-патриотического сознания Пушкина – если оставить здесь в стороне поэмы и стихи, посвященные частью русской истории, частью откликам на современные поэту внешнеполитические события, – является замечательный прозаический «Отрывок из неизданных записок дамы. 1811 год» (1831), обыкновенно перепечатываемый теперь под заглавием «Рославлев». Пушкин задумал дать критику слабого, казенно-патриотического романа Загоскина из эпохи 1812 г. «Рославлев» – в форме фиктивных записок «дамы», мнимой свидетельницы событий, изображенных Загоскиным. В этом отрывке – на фоне беспощадной критики легкомыслия и государственной безответственности светских кругов России в 1812 году, в противовес фальшиво идеализирующему изложению Загоскина – обрисовывается со свойственной Пушкину гениальной художественной четкостью и правдивостью образ одинокой героической девушки – Полины. Этот образ – как, впрочем, и образ Татьяны Лариной – есть прототип будущих героинь тургеневских романов, русских девушек, которые нравственной правдивостью, героизмом, жертвенностью превосходят окружающих их тонко образованных,

но слабовольных, эгоистических и духовно надломленных мужчин. Но характерно, что содержанием нравственного пафоса пушкинской героини является государственный патриотизм, боль и тревога за судьбу России, чувство национальной гордости и презрение к людям, чуждым этому чувству.

На почве этого государственно-патриотического сознания вырастает конкретно-политическое мировоззрение Пушкина. Прежде всего надо отметить, что Пушкин, в качестве ума конкретно-реалистического, никогда не мог быть связан партийно-политическими догматами. Замечательно, что Пушкин, при всей страстности его интереса к политической жизни не только России, но и Запада и при всем его убежденном «западничестве», совершенно свободен от того рабски-ученического, восторженно-некритического отношения к западным политическим идеям и движениям, которое так характерно для обычного типа русских западников. Будучи западником, он очень хорошо понимал коренное отличие истории России от истории Запада и отчасти из этого исторического сознания, отчасти из конкретного восприятия политической реальности своего времени отказывался непосредственно применять политические доктрины Запада к России. Теперь с очевидностью выяснено, что в отношении Запада, в частности Франции, Пушкин был умеренным конституционалистом (будучи одновременно, как увидим ниже, резким противником демократии). Он говорил всегда с величайшим уважением о m-me de Staël, и политические доктрины ее и Бенжамена Констана оказали на него несомненное влияние. В начале оппозиционного движения и революции 1830 г. во Франции он стоит на стороне оппозиции и против министерства Полиньяка, и лишь потом испытывает отталкивание и от радикализма революционной партии, и от буржуазной июльской монархии Луи-Филиппа (ср. основательную статью Б.В. Томашевского на эту тему в приложении к «Письмам Пушкина к Хитрово»). Точно так же в отношении французской революции 1789 года он отличает самое «огромную драму» от «жалкого эпизода», «гадкой фарсы» восстания черни («Разговор» 1830), а в отношении английской революции XVII века высказывает уважение к государственному уму Кромвеля и восхищение перед поэтом революции Мильтоном («О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»). В отношении же России Пушкин в зрелую эпоху никогда не был конституционалистом, а – хотя с существенными оговорками, о которых ниже, – был в общем скорее сторонником самодержавной монархии. В политическом мировоззрении Пушкина можно наметить лишь немногие общие принципы – в высшей степени

оригинальные, не укладывающиеся в программу какой-либо партии XIX века. Мы отметим сначала вкратце эти общие принципы, чтобы затем проследить их приложение к проблемам русской политики.

По общему своему характеру, политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся однако с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка и независимости личности, – т. е. в этом смысле проникнутый либеральными началами.

Консерватизм Пушкина слагается из трех основных моментов: из убеждения, что историю творят – и потому государством должны править – не «все», не средние люди или масса, а избранные, вожди, великие люди, из тонкого чувства исторической традиции, как основы политической жизни, и наконец из забот о мирной непрерывности политического развития и из отвращения к насильственным переворотам. Как Пушкин в своей поэзии всегда прославляет гения и презирает «чернь», толпу, господствующее общее обывательское мнение, так он проповедует эту же веру в своих политических размышлениях. В стихотворении «Полководец» (1835) он заключает свое размышление над трагической судьбой непонятого и отвергнутого общественным мнением военного гения Барклай-де-Толли общей мыслью:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Сюда же относится культ Наполеона – столь разительно отличный от демократически-народнического развенчивания Наполеона у Льва Толстого – и культ Петра Великого. А.О. Смирнова приводит в своих «Воспоминаниях» слова Пушкина (достоверность которых совершенно очевидна по внутренним основаниям, как бы недостоверны ни были многие свидетельства этих сомнительных мемуаров): «Разумная воля единиц или меньшинства управляла человечеством… В сущности, неравенство есть закон природы… Единицы совершали все великие дела в истории» (цитирую по статье Мережковского о Пушкине, «Вечные спутники» 1897, с. 503). Отсюда ненависть Пушкина к демократии в смысле господства «народа» или «массы» в государственной жизни. В применении к Франции он

говорит о «народе» (der Herr Omnis), который «властвует» «отвратительной властью демократии» («Об истории поэзии Шевырева» 1835). Так же об Америке (с ссылкой на «славную книгу Токевиля» «De la démocratieen Amérique»): «С изумлением увидел демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству; большинство, нагло притесняющее общество…» и пр. (Джон Теннер, 1836).

Вторым мотивом пушкинского консерватизма является, как указано, пиэтет к историческому прошлому, сознание укорененности всякого творческого и прочного культурного развития в традициях прошлого. На любви «к родному пепелищу» и «к отеческим гробам» «основано от века самостоянье человека, залог величия его» (стихотворный отрывок «Два чувства дивно близки нам»). Из этого сознания вытекает известное требование уважения к старинному родовому дворянству, как носителю культурно-исторического преемства страны. В стихах, в политических размышлениях, в литературной критике и набросках повестей Пушкин постоянно возвращается к этой теме. Презирая придворное дворянство временщиков, людей «прыгающих в князья из хохлов», Пушкин настаивает на ценности старых дворянских родов. Всего яснее эта мысль аргументирована в «Отрывках из романа в письмах»: «Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижение наших исторических родов… Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ! Образованный француз или англичанин дорожит строкою летописца, в которой упоминается имя его предка…; но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей отечества. И это ставите вы ему в достоинство. Конечно, есть достоинство выше знатности рода – именно достоинство личное… Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться их именами?» (ср. отрывок: «Гости съезжались на дачу»: «неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности»).

И, наконец, с этим чувством пиэтета к прошлому в консерватизме Пушкина сочетается забота о мирной непрерывности культурного и политического развития. Если уже в 1826 г. он, как мы видели, говорит о своей нелюбви к возмущениям и революции, то позднее эта «нелюбовь»

превращается в настоящую тревогу, в положительную заботу о мирном течении политической жизни. Не только он с ужасом думал о крестьянских бунтах – «не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» (ср. также в письмах и дневнике Пушкина отзыв о восстании в новгородских военных поселениях), – но он выражает эту идею и в общей положительной форме: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» («Мысли на дороге»). А в программе размышлений «О дворянстве» содержится запись (по-французски): «Устойчивость – первое условие общественного блага. Как согласовать ее с бесконечным совершенствованием?»

С этими элементами консервативного миросозерцания у Пушкина органически сочетается, как указано, требование личной независимости и свободы культурного и духовного творчества – принципы, которые в буквальном смысле можно назвать «либеральными». Принцип духовной независимости личности, невмешательства государства в сферу духовной культуры психологически ближайшим образом вырастает у Пушкина из личного опыта гениальной творческой натуры, всю жизнь страдавшей от непризванной опеки государственной власти. Можно представить себе напр., душевное состояние Пушкина, когда Николай I давал ему совет – почти равносильный приказу – переделать драму «Борис Годунов» (которую Пушкин сам ощущал, как образцово-удачное творение своего вдохновения) в исторический роман в стиле Вальтера Скотта.

Не сомневаясь, даже в юности, в праве цензуры оберегать государственный порядок и общественную нравственность от злоупотреблений печати, – в позднейшие годы, в «Мыслях на дороге» он даже развивает целую аргументацию в доказательство необходимости цензуры, – Пушкин постоянно, от юности до конца жизни, требует ясного разграничения цензурного контроля от эстетической и моральной опеки. Особенно отчетливо это выражено в письме Гнедичу еще от 1822 г. из Кишинева. Иронически он говорит о цензуре: «поздравьте ее от моего имени – конечно, иные скажут, что эстетика не ее дело, что она должна воздавать Кесарево Кесарю, а Гнедичево Гнедичу, но мало ли что говорят» (I, 46–47; ср. оба стихотворения «Послания к цензору»). Тот же принцип – как бы дуализма принципов государственной власти и духовной независимости личности – проводится им и в общей форме, и притом и в последний, отчетливо консервативный, период жизни. В наиболее яркой форме это исповедание выражено в известном стихотворении 1836 под

обманчивым заголовком «Из Пиндемонте»: «Не дорого ценю я громкие права…» Пушкин не требует права на активное участие в политической жизни и не дорожит им; он требует лишь духовной независимости личности, простора и нестесненности духовной жизни и творчества. Это требование, ближайшим образом относящееся к сфере духовной жизни и эстетического творчества, разрастается у Пушкина в общее принципиальное утверждение независимости личности в частной жизни. По случаю упомянутой уже выше перлюстрации его письма к жене он не только в своем дневнике записывает мысль о «глубокой безнравственности в привычках нашего правительства» (ср. выше) и повторяет слова Ломоносова: «я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у Царя Небесного» (Дневник 10 мая 1834), но одновременно в письме к жене, с явным намеком, что это адресовано власти, могущей снова распечатать письмо, высказывает общее политическое суждение: «Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilitédefamille) невозможно. Каторга не в пример лучше» (III, 122). Эта идея обоснована у Пушкина религиозно: она стоит в связи с культом домашнего очага, «пенатов», «божеств домашних», как хранителей уединения и независимости духовной жизни. Это религиозное ощущение проходит через все поэтическое творчество Пушкина и находит свое завершающее выражение в «гимне пенатам» («Еще одной высокой важной песни…»): «пенаты» учат человека «науке первой: чтить самого себя». В другом стихотворении («Два чувства дивно близки нам») Пушкин прославляет, как «животворящую святыню», «самостоянье человека, залог величия его».

Из этого принципа уважения к духовной жизни человека и к неприкосновенности и святости домашнего очага вырастает и общее требование прочного правопорядка. В «Мыслях на дороге», именно в связи с обоснованием правомерности цензуры, подчеркивается необходимость, чтобы «устав», которым руководится цензура, был «священ и непреложен», и это указание подкрепляется общим соображением: «Несостоятельность закона столь же вредит правительству (власти), как и несостоятельность денежного обязательства» (Собр. соч. изд. «Слово», VI, 245). В оценке деятельности Петра Великого Пушкин записывает: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его Указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего – вторые вырвались

у нетерпеливого самовластного помещика» (Соч. изд. «Слово» V, 443; особая отметка Пушкина указывает, что эта мысль должна была проникать задуманную, оставшуюся ненаписанной «Историю Петра Великого»).

Консерватизм Пушкина органически связан с этим его либерализмом через идею, что свобода духовной жизни и культуры обеспечивается именно блюдением культурной преемственности и общественных слоев, которые являются ее носителями. Требование уважения к родовому дворянству имеет в этой связи не только консервативный, но и либеральный смысл. Наследственное дворянство есть по мысли Пушкина твердыня, ограждающая начала духовной независимости в государственно-общественной жизни. В письмах и прозаических работах и набросках Пушкин не устает повторять, что духовная ценность русской литературы основана на том, что русские писатели суть дворяне – носители чувства независимости и чести. В программе размышлений о дворянстве говорится: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству, чести вообще… Нужны ли они (эти качества) в народе, так же, например, как трудолюбие? Нужны, и дворянство – lasauvegarde трудолюбивого класса, которому некогда развивать эти качества… Наследственность дворянства есть гарантия его независимости. Противоположное есть необходимое средство тирании, или, точнее, бесчестного и развращающего деспотизма» (Соч. изд. «Слово», VI, 195–197). Для этого воззрения Пушкина на значение дворянства весьма характерно, что ценность дворянства всегда рассматривается им с точки зрения общегосударственного и культурного интереса, и что он резко отвергает все эгоистические сословные притязания дворянства. Если еще в юношеских «Исторических замечаниях» (ср. выше) он порицает указы Петра III о вольности дворянства – «указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были стыдиться», то и в размышлениях «О дворянстве», при полной перемене своей общей политической позиции, он снова повторяет эту мысль. «Аристократией прав» и «рабством народа» «кончается (погибает) дворянство».

III

Этими общими принципами конкретно определяется отношение Пушкина к политической реальности России его эпохи, и именно в этой конкретной установке обнаруживается в особенности полная оригинальность и гениальность политической мысли Пушкина.

Прежде всего Пушкин в отношении русской политической жизни – убежденный монархист, как уже было указано выше. Этот монархизм Пушкина не есть просто преклонение перед незыблемым в тогдашнюю эпоху фактом, перед несокрушимой в то время мощью монархического начала (не говоря уже о том, что благородство, независимость и абсолютная правдивость Пушкина совершенно исключают подозрение о каких-либо лично-корыстных мотивах этого взгляда у Пушкина). Монархизм Пушкина есть глубокое внутреннее убеждение, основанное на историческом и политическом сознании необходимости и полезности монархии в России – свидетельство необычайной объективности поэта, сперва гонимого царским правительством, а потом всегда раздражаемого мелочной подозрительностью и враждебностью. «Со времени восшествия на престол дома Романовых – говорит Пушкин в «Мыслях на дороге» – правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» (Соч. VI, 209). То же воззрение высказано в гениальном, упомянутом уже выше, письме к Чаадаеву от октября 1836 г. В конце своей критики исторической концепции Чаадаева Пушкин отмечает, в чем он согласен с Чаадаевым в его оценке тогдашнего состояния русской культуры – именно, «что наше нынешнее общество столь же презренно, как и глупо», что в нем «отсутствует общественное мнение, и господствует равнодушие к долгу, справедливости, праву, истине…, циническое презрение к мысли и достоинству человека». Вслед за этими словами идет замечательная оговорка, которой оканчивается письмо: «Следовало бы добавить (не в качестве уступки, а ради истины), что правительство есть единственный европейский элемент России, и что – как бы грубо (brutal) оно ни было – от него одного зависело бы быть еще сто раз грубее. Ни на кого это не произвело бы ни малейшего впечатления» (III, 389).

Можно сказать, что этот взгляд Пушкина на прогрессивную роль монархии в России есть некоторый уникум в истории русской политической мысли XIX века. Он не имеет ничего общего ни с официальным монархизмом самих

правительственных кругов, ни с романтическим, априорно-философским монархизмом славянофилов, ни с монархизмом реакционного типа. Вера Пушкина в монархию основана на историческом размышлении и государственной мудрости и связана с любовью к свободе и культуре.

Еще более замечательна, однако, критика русской монархии, которую мы одновременно встречаем в зрелом консервативном миросозерцании Пушкина. Парадоксальным образом Пушкин упрекает русскую монархическую власть – в революционности. При всем своем благоговении к Петру, он называет его «одновременно Робеспьером и Наполеоном – воплощенной революцией» («О дворянстве»). В замечательном разговоре с вел. кн. Михаилом Павловичем (в споре с ним о ценности наследственного дворянства по поводу указа о почетном гражданстве, последствием которого должно было быть затруднение доступа в дворянство по службе; великий князь был против этой меры) Пушкин не стесняется сказать ему: «Вы пошли в вашу семью, все Романовы – революционеры и уравнители» (на что явно неприятно задетый великий князь ответил иронической благодарностью за то, что он «пожалован» Пушкиным в якобинцы). В шутливой форме Пушкин высказал свою мысль, стоящую в связи с его вышеизложенным взглядом на общественное значение дворянства, как носителя культурной непрерывности и свободного общественного мнения и культурного творчества. Поэтому он резко высказывается против петровской «табели о рангах», в силу которой лица из низших слоев в порядке службы проникали в дворянство. «Вот уже 150 лет, как табель о рангах выметает дворянство, и нынешний Государь первый установил плотину, еще очень слабую (Пушкин имеет в виду упомянутый указ о почетном гражданстве), против наводнения демократии, худшей, чем в Америке» («О дворянстве»). «Наследственные преимущества высших классов общества суть условия их независимости. В противном случае классы эти становятся наемниками» (ib.). Если в юношеских «Исторических замечаниях» Пушкин, как мы видели, сочувствовал победе в России самодержавия над попытками установления «феодализма», над честолюбивыми замыслами боярства и дворянства, то теперь он стоит на прямо противоположной точке зрения. В критических заметках на «Историю русского народа» Полевого, указывая на основное отличие русской истории от истории Запада – отсутствие у нас феодализма, он прибавляет: «Феодализма у нас не было – и тем хуже»; он сожалеет также об отсутствии в России свободных городских общин. «Феодализм мог бы… развиться, как первый шаг учреждений независимости

(общины были второй), но он не успел. Он рассеялся во времена татар, был подавлен Иваном III, гоним, истребляем Иваном IV. Место феодализма заступила аристократия, и могущество ее в междуцарствие возросло до высочайшей степени. Она была наследственной, – отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом….С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня».

Недостаток места не позволяет нам подкрепить эти суждения Пушкина еще другими цитатами, которых можно было бы привести множество. Но и указанного достаточно, чтобы политическая мысль Пушкина уяснилась нам во всей ее оригинальности и яркости. Монархия есть для него единственный подлинно европейский слой русского общества, которому Россия обязана – начиная с XVII века – всем своим культурным прогрессом. Но монархия легко подпадает искушению – и именно в России, при некультурности широких масс общества, искушение это особенно велико – недооценить культурное значение независимых высших классов и в интересах абсолютизма пытаться их ослаблять и связаться с низшими слоями населения. Этим открывался бы путь к уравнительному, губительному для культуры и свободы деспотизму, и, по мнению Пушкина, монархия по меньшей мере со времени Петра вступила на этот гибельный путь. Пушкин защищает точку зрения истинного консерватизма, основанного на преемственности культуры и духовной независимости личности и общества, против опасности цезаристски-демократического деспотизма. Если он ближайшим образом подчеркивает ценность старинного дворянства и как бы защищает его интересы как против уравнительных тенденций, так и против богатой и влиятельной придворной знати из выскочек и вельмож XVIII века, то только потому, что в его эпоху – как он это неоднократно подчеркивает – этот средний нечиновный старинный дворянский класс был главным или даже основным носителем независимой культуры. Общее понятие «дворянства» у него шире. К дворянству «в республике» он причисляет и класс буржуазии «богатых людей, которыми народ кормится» («О дворянстве», ср. приведенное выше указание на культурное и политическое значение городских общин). Общим и основным мотивом его консерватизма является борьба с уравнительным демократическим радикализмом, с «якобинством». С поразительной проницательностью и независимостью суждения он усматривает, – вопреки всем партийным шаблонам и ходячим политическим воззрениям, – сродство демократического радикализма с цезаристским абсолютизмом. Если в политической

мысли XIX века (и, в общем, вплоть до нашего времени) господствовали два комплекса признаков: «монархия – сословное государство – деспотизм» и «демократия – равенство – свобода», которые противостояли (и противостоят) друг другу, как «правое» и «левое» миросозерцание, то Пушкин отвергает эту господствующую схему – по крайней мере, в отношении России – и заменяет ее совсем иной группировкой признаков. «Монархия – сословное государство – свобода – консерватизм» выступают у него как единство, стоящее в резкой противоположности к комплексу «демократия – радикализм („якобинство“) – цезаристский деспотизм». Где нет независимых сословий, там господствует равенство и развращающий деспотизм. Деспотизм Пушкин определяет так: «жестокие законы – изнеженные нравы» («О дворянстве»).

Пушкин, конечно, ошибся в своем историческом прогнозе в одном отношении. Русская монархия не вступила в союз с низшими классами против высших, образованных классов (освобождение крестьян, о котором в течение всей своей жизни страстно мечтал сам Пушкин, конечно, сюда не относится); напротив, гибель монархии, по крайней мере, отчасти, была обусловлена тем, что она слишком тесно связала свою судьбу – особенно в 80-х и 90-х годах – с судьбой естественно угасавшего дворянского класса, чем подорвала свою популярность в крестьянских массах. Но в основе своей воззрение Пушкина имеет прямо пророческое значение. Каковы бы ни были личные политические идеи каждого из нас, простая историческая объективность требует признания, что понижение уровня русской культуры шло рука об руку с тем «демократическим наводнением», которое усматривал Пушкин, и которое стало для всех явным фактом начиная с шестидесятых годов – с момента проникновения в общественно-государственную жизнь «разночинцев» – представителей полуобразованных и необразованных классов. Историческим фактом остается также утверждаемая Пушкиным солидарность судьбы монархии и образованных классов и зависимость свободы от этих двух политических факторов. С крушением русской монархии русский образованный класс, а с ним и свобода, были поглощены внезапно хлынувшим потопом «демократического якобинства», того стихийно-народного, «пугачевского» «большевизма», который – по крайней мере в 1917–1918 годах – составил как бы социальный субстрат большевистской революции и вознес к власти коммунизм, окончательно уничтоживший в России свободу и культуру.

Валерий Кирпотин
Идеал независимой личности

Политически оформленное свободолюбие, нашедшее себе наиболее яркое проявление в оде «Вольность» и стихотворении «Кинжал», покоилось у Пушкина на более аморфном, но зато на более широком, неизмеримо более прочном и очень действенном чувстве его – на стремлении к личной независимости, на личном свободолюбии. Не надо только думать, что Пушкин, предвосхищая будущий штирнеровски-ницшеанский идеал, жаждал личной свободы только для себя, за счет других. Нет, стремление к личной независимости у Пушкина не было эгоистическим чувством, оно не нарушало пушкинского отношения к другим людям, как к равным личностям, достойным самостоятельного полноценного счастья. Наоборот, оно было следствием признания ценности каждого человека, каждой личности. Не мешайте каждому жить так, как он хочет, как он располагает, – вот как может быть сформулировано пушкинское правило личной независимости. Личная свобода, по мысли Пушкина, равнялась свободе частной, неофициальной жизни в противоположность ярму государственной и светской официальной жизни, надевавшемуся на шею пушкинских современников вольно и невольно.

Стремление к личной независимости – одна из причин, вследствие которой поэзия Пушкина – да и жизнь Пушкина – не теряет своего свободолюбивого, «крамольного» характера и тогда, когда он расстался с политически оформленными мечтами о конституционной свободе. Была большая разница между верноподданными холопами, толпою окружавшими трон, и Пушкиным даже тогда, когда он проповедовал необходимость самодержавия и выражал самые искренние опасения перед возможностью народного мятежа в России. Люди, обвиняющие Пушкина в сервилизме, этого не чувствуют, но предержащие власти, начиная с самого царя, и добровольные соглядатаи это различие прекрасно учитывали. Они преследовали Пушкина даже тогда, когда он старался воспевать Николая; они создали вокруг похорон затравленного и убитого ими Пушкина обстановку похорон государственного преступника.

И.Айвазовский. Пушкин на берегу Черного моря

Как бы Пушкин ни относился к современному ему политическому строю, его идеал частной независимости отрицал все то, что было дорого активным проводникам режима. Его идеал подрывал устои, на которых держалось все здание не только политического, но и социального порядка. Пушкин презирал свет, в его блистательных представителях он разглядел разряженных холопов и невежд, светская мишура не могла скрыть от него подчиненной этикету праздной суеты. Эпиграмма Пушкина на его начальника по одесской ссылке Воронцова характеризовала не исключительное явление, а типическое. Большой свет в императорской России был учреждением весьма важным, хоть и не имевшим под собой юридической базы. В него входил двор, в центре его стоял царь. И царь, и Бенкендорф, и все его представители обоего пола строго следили за соблюдением его законов. Сколько доставалось Пушкину хотя бы за появление не в той одежде, которая полагалась!

Пушкин же относился к свету, как к

…мертвой области рабов,
Капральства, прихотей и моды…

(«Всеволожскому».)

Уезжающему в Москву приятелю своему Всеволожскому он дает совет, продиктованный сознанием превосходства частной,

личной жизни над официальной, светской:

Держася моего совета
И волю всей душой любя,
Оставишь круг большого света
И жить решишься для себя.

Послание Всеволожскому написано в раннем периоде творчества Пушкина. Оно окрашено в самые яркие цвета эпикурейского счастья, которым должны наградить независимость и воля. Представление о счастье с возрастом у Пушкина менялось, становилось все серьезней, но отношение его к свету, к официальной общественности царской России не менялось, становясь лишь продуманней и злее. Свет – царство скуки; мало того, свет не только скучен, – он еще вдобавок подл. Для портретов великосветских заправил он не пользовался смягчающими красками, примененными им для характеристики среды Лариных, деревенских помещиков, удаленных от двора и столичной знати:

Не знаю где, но не у нас
Достопочтенный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой,
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова об Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решились тонким… и пр.

«Дрянь александровского поколения», по выражению Герцена, заполнившая жизнь после разгрома лучших людей двадцатых годов, оценена в этом отрывке вполне по достоинству.

В деловую компетентность официальных вершителей судеб Пушкин не верил. В одной эпиграмме, отбиваясь, по-видимому, от упреков в праздности и плохой службе, – а свои служебные обязанности Пушкин умел всегда сводить к минимальной

формальности, – он очень метко ответил:

Как брань тебе не надоела!
Расчет короток мой с тобой:
Ну, так, я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой.

Пушкин знал, что официальный мир – и служебный и светский – складывался из угнетателей, светогасителей и бездельников-паразитов, обманывавших себя и других видимостью дела, хождением на службу. Чем разделять бесчеловечие и скуку этой чинной лицемерной обязательной жизни, Пушкин предпочитал ничем не стесненное сообщество эпикурейского кружка своих личных друзей, «где ум кипит, где мысли вольны, где спорят вслух, где чувства живы».

И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья, —

объяснял Пушкин свое отношение к свету, —

Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где Бутурлин – невежд законодатель,
Где Шеллинг – царь, а скука – председатель.
Где глупостью единой все равны.
Я помню их, детей честолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их уколов и похвал!..
Когда в кругу Лаис благочестивых
Затянутый невежда-генерал
Красавицам внимательным и сонным
С трудом острит французский мадригал,
Глядя на всех с нахальством благосклонным,
И все вокруг и дремлют, и молчат,
Крутят усы и шпорами бренчат,
Да изредка с улыбкою зевают, —
Тогда, мой друг, забытых шалунов
Свобода, Вакх и музы угощают.

(«Послание к князю А.М. Горчакову»)

Независимость, вольнолюбивый дух, радость и счастье личной жизни, отъединенной от стеснительного казенного регламента, Пушкин противопоставлял не только свету, но тогдашней государственной деятельности, в которой преобладала низменная корысть, а не забота об общей пользе. Пушкин не гонялся за карьерой; казенные служебные успехи он презирал всей душой; чины, кресты, алмазные звезды, честь придворных прихожих он спокойно оставлял в удел князю Горчакову и иным ему подобным. С тем же чувством относился Пушкин и к деньгам, к богатству, к накопительству. По-своему Пушкин цену деньгам знал. Тратил он их тоже основательно. Гнет безденежья он также испытал. Но деньги никогда не были самоцелью у Пушкина. «Дай сделаю деньги, не для себя, для тебя, – писал он жене из Москвы. – Я деньги мало люблю; но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости» (Переписка, том III, стр. 152.). Стремление к независимости всегда выступало у Пушкина на первый план. Идеал частной независимости у Пушкина исключал стяжательное отношение к богатству. Погоня за богатством, за деньгами, гнет вещей и сокровищ создают также род рабства, который поэт презирал не меньше, чем рабское преклонение перед чинами и власть имущими:

Смотрю с улыбкой сожаленья
На пышность бедных богачей.
И, счастливый самим собою,
Не жажду горы серебра,
Не знаю завтра, ни вчера,
Доволен скромною судьбою
И думаю: «К чему певцам
Алмазы, яхонты, топазы,
Порфирные пустые вазы,
Драгие куклы по углам?
К чему им сукна Альбиона
И пышные чехлы Лиона
На модных креслах и столах,
И ложе шалевое в спальной?..»

(«Послание к Юдину»)

Не прельщала Пушкина и разновидность феодально-бюрократической карьеры в его время – военная служба. Даже поразительно, как Пушкин, свидетель успехов Наполеона, его

разгрома, беспримерной славы русского оружия, вступления русских войск в Париж, человек, вращавшийся в среде военных, переживший хмель воодушевления опасных и удачных войн, как он остался абсолютно равнодушен к ореолу военной славы и воинских почестей. Мир Пушкину нравился неизмеримо больше, чем война. Счастье человеку может обеспечить только мир. Оборотную сторону бранной славы Пушкин представлял себе хорошо; наслаждения мирной тишины он предпочитал тяготам, увечьям и смерти на войне:

Военной славою забытый,
Спешу в смиренный свой приют,
Нашед на поле битв и чести
Одни болезни, костыли,
Навек оставил саблю мести…

(Там же.)

В лагере при Ефрате, наблюдая картины войны, которой Пушкин сочувствовал (как и декабристы, поэт желал расширения России за счет покорения иноплеменных территорий), он написал следующее поразительное стихотворение:

Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой,
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
Знаю: смерть тебя не встретит;
Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит —
И пощада будет ей!
Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!

Война страшна не только смертью и увечьем. Она несет с собой грубость нравов, она уничтожает естественную прелесть человечности. Под конец жизни в поэзии Пушкина проступают религиозные ноты, но и в религиозных настроениях Пушкина видны черты, отделяющие его от официальной церкви. Религия, как начал признавать Пушкин, – дело совести отдельного человека, независимое от целей «градских правителей».

Независимость религиозного сознания Пушкина – что очень важно – демократична. Религиозные убеждения – дело совести каждого, не исключая и представителей «простого народа».

Когда великое свершилось торжество,
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария грешница и пресвятая дева,
Стояли две жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим – поставлено на место жен святых
С ружьем и в кивере два грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража?
Или распятие – казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей?
Иль мните важности придать царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ!

Немногочисленные религиозные стихотворения Пушкина написаны в последний период его жизни. Они – результат давления политической и общественной реакции. Но в мировоззрении и творчестве Пушкина при всех значительных изменениях, через которые они прошли, поражает наличие определенного постоянного стержня. Независимость и самостоятельность своего поэтического и умственного развития Пушкин не уступал во власть казенщины ни во имя царя земного, ни во имя царя небесного. В круг религиозных воззрений Пушкина загнали обстоятельства: одиночество, травля, все теснее смыкавшийся вокруг него безвыходный роковой круг. Однако религиозность Пушкина так же не сливалась с мракобесием церкви, как его лояльность верноподданного не превращалась в холопское «чего изволите». Ни монархизм, ни религиозность Пушкина не сливали его с официальной идеологией. Пушкин после поражения декабристов поправел – это несомненно, но Пушкин не перестал быть «крамольной» фигурой. Недаром вокруг

него было сосредоточено столько недоверия со стороны правящих. Достаточно напомнить, что произведения Пушкина подвергались четверной цензуре: царя, Бенкендорфа, обыкновенных цензоров и просмотру друзей, по-своему пытавшихся оберечь поэта от неприятностей. И все же это четверное процеживание творчества Пушкина от неблагонадежного содержания не избавляло его от печатных и тайных доносов агентов Третьего отделения.

Вольнолюбивый Пушкин всю свою жизнь, на разных этапах по-разному, противостоял всем проявлениям официальной жизни, строившейся по определенному ранжиру и на службе, и дома, и в церкви. Политические убеждения Пушкина менялись, но одно правило оставалось неизменным:

Бреду своим путем,
Будь всякий при своем…

Поиски независимости продиктовали Пушкину мечту о деревенском уединении, куда можно было бы даже территориально уйти от слишком любознательной и слишком распорядительной власти правительства и официозного общественного мнения. Пушкину было скучно в деревне, из ссылки он стремился в кипящий жизнью Петербург, но из Петербурга он рвался обратно в деревенскую тишину.

Тяга усталого от дрязг Пушкина в деревню не является особенностью только последнего периода его жизни. И в молодости критика света сопровождается у него воспеванием мирного сельского уединения:

Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали взыскательных невежд,
Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрыт, по милости творца,
От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала.

(«Уединение»)

Пушкин стремился уйти в независимость частной жизни, защищая свою личную свободу, свое право жить, как хочется, без постоянной оглядки на указующий перст агента царского

правительства и на непрерывный осуждающий гул светской золоченой черни. «Независимость и уважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы», – утверждал Пушкин. Это была его любимейшая и заветнейшая мысль. С горькой иронией выговаривал он своей жене, которая всей силой своей женской власти над поэтом тянула его обратно в свет, из которого он стремился убежать: «…вы, бабы, не понимаете счастья независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали про вас: «friermadameonetelleetaiit deciidlementlaplusbelleetlamiieuxmiise ‘dufoal» (Переписка, том III, стр. 127).

Официальная жизнь николаевского общества обедняла и искажала личность. Наоборот, независимое от нее существование обогащало личность. В круге частной жизни, изолированной от господствовавшей морали, Пушкин узнал обаяние дружбы, сладость любви, мечты о счастье, восторги поэтического вдохновенья и радость познания. Самые драгоценные дары жизни, зависевшие не от власти, не от денег, а только от природных качеств, от особенностей его личности, от некорыстного отношения друг к другу людей как обладателей определенных характеров, соединялись здесь для того, чтобы превратить жизнь в один исполненный высокого достоинства праздник.

Вот он, приют гостеприимной,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство;
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр и шуток, и вина.

(«Я.Н. Толстому»)

Здесь, в сфере частной независимости, пытливому духу поэта открывалось все качественное богатство мира – природы и истории.

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.

Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгах дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугом улыбнулись;
Цевницы брошенной уста мои коснулись;
Старинный звук меня обрадовал – и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу верную, и милые предметы…

(«Чаадаеву»)

Не в партикулярной ограниченности школяра, а в условиях умственного развития Пушкина и его отношений к официальному отечеству заключается смысл его восклицания:

Нам целый мир – чужбина;
Отечество нам – Царское Село.

Лицей времен Пушкина, с его кипением молодости, страстей, мыслей, поэзии и вольнолюбия, был островком, жившим в благотворной изоляции от лакейства, солдафонства, ханжества и пиетизма второй половины царствования Александра I. Лицей был закрытым учебным заведением. К официальной и светской жизни у лицеистов прямого доступа не было. Не стесненные строгим надзором, они создали себе взамен маленькую независимую республику, в которой лучшие из них открывали себе доступ к высшим достижениям культуры. Официальный мир, куда после лицея ушли такие, как Горчаков, мир, бывший, при известных вариациях, одним и тем же во всех европейских странах, был этим лучшим чужд. Зато они, лучшие, в этом маленьком городке, приютившемся у самого порога двора, научились вольно относиться к царям земным и небесным, узнали античность, читали Вольтера, вошли в пленительную область искусства, сроднившую их с немеркнущими ценностями европейской жизни, лишенными какого бы то ни было официального штампа.

Даже юношеский разгул Пушкина, если взглянуть на него с более широкой точки зрения, заключал в себе элементы протеста против узаконенной, сверху налегавшей на жизнь морали, религии, закона. В ней есть вызов ханжеству, лицемерию и

благочинию, в ней есть род ухода из окружающей действительности – ухода не очень основательного, в формах, свойственных юности и незрелому сознанию, но все же ухода. Вспомним, что за пиршественный стол молодого Пушкина, вместе с его друзьями и подругами, не очень-то строгими в соблюдении общеустановленных норм, садились музы, разум и политическое свободомыслие.

Это независимо-частное отношение к жизни, игнорирование официально навязываемого ей смысла Пушкин вносил в образную ткань своего творчества. И как писатель он интересовался явлениями жизни не в их обязательно-казенном выражении, а в их нестесненном, бытовом, домашнем течении. «Капитанская дочка» написана как рассказ «о семейственных преданиях» Петра Андреевича Гринева, частная судьба которого так причудливо и многозначимо пересеклась с историей Пугачева. Прямые исторические описания, излагающие события официальной истории, Пушкин сознательно обходит. «Не стану описывать оренбургскую осаду, – говорит он в одном месте, – которая принадлежит истории, а не семейственным запискам». Таково же отношение Пушкина к своим героям в «Евгении Онегине». Белинский, объясняя значение стихотворного романа Пушкина, говорит следующее: «У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая – ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот прежде всего должен изучить его в его семейном, домашнем быту… И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало „Онегина“ и „Горе от ума“ произведениями оригинальными и чисто русскими»…

Пушкин также не имел холопского пристрастия к королям и героям. Пушкин также изображал прошлое и настоящее без напыщенности и театральности в их повседневной обыденности, независимо оценивая самые торжественные моменты официальной истории, самостоятельно разбираясь во всех общеустановленных трафаретах.

Освобождение от давления официальной идеологии имело для Пушкина, как и для многих других классических писателей, неисчислимые положительные последствия. Неофициальный, частный подход к окружающей действительности давал возможность Пушкину видеть в окружающем не то, что хотело правительство, его пресса, общественное мнение

господствующего класса, а то, что он наблюдал на самом деле. Виденное и наблюденное Пушкин объяснял не на основе правил казенного правоверия, а на основе своего самостоятельного разумения. Независимость позиции Пушкина как писателя и человека влекла за собой умение видеть правду жизни и правдиво рассказывать о ней. Независимость, честность, неофициальность, свободолюбие, «крамольность» Пушкина и реализм его между собой теснейшим образом связаны.

Независимость взгляда на вещи в соединении с просвещением и свободолюбием давала возможность Пушкину заглянуть и в изнанку социального строя, в котором он жил и творил. Это свойство пушкинского творчества особенно рельефно обнаруживается в стихотворении «Деревня». Оно начинается с приветствия деревне как приюту независимой частной жизни. Деревня противопоставляется порокам города и света, как пустынный уголок спокойствия, трудов, вдохновенья, продуктивной праздности и счастья. Сельское уединение, освобождающее от городских сует, от давления невежества, дает возможность поэту беспрепятственно погрузиться в туманность просвещенных чувств и мыслей:

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе
И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца в величии неправом.

Досуг и книги, книги и труды заполняют в деревне уединение, воспитывая и упражняя чувство человечности. Однако независимое и реалистическое мировоззрение, изощренное «оракулами веков», то есть передовыми идеями европейской культуры, больно чувствует свое противоречие с крепостным правом, с рабством мужика, на спине которого возвышалось снаружи такое величественное здание императорской России. Пушкин, признав крепостное право вопиющей несправедливостью, разглядел главный классовый конфликт своего времени и с тех пор, как будто зачарованный, не спускает уже с него взора:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает

Везде невежества убийственный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой
Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
С поникшею главой, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь горестный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея;
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов…

Частное отношение к миру социальной и политической борьбы имеет свою оборотную сторону. Оно ограничивает размеры протеста, оно – свидетельство поисков выхода, пока еще в рамках данного режима. Оно говорит об отъединении от данной действительности, а не о переходе на сторону угнетенного класса. Поэт вновь и вновь надеется найти гармонический, примиряющий исход беспокоящего его противоречия. Ему хочется ускользнуть в сторону от социальных антагонизмов эпохи, ограничить свое внимание только кругом интимных своих переживаний:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Всё же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Бьется локон золотой.

Пушкин готов бежать от борьбы. Недаром он симпатически вспоминает образ «бессмертного труса Горация», о котором он написал вовсе не осуждающие стихи:

Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,

Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?

(«Кто из богов мне возвратил…»)

Пушкинский протест не достиг еще силы протеста Некрасова. Некрасов перешел на сторону крестьянства в его борьбе против помещиков. Некрасов радовался разорению, упадку и гибели дворянской усадьбы. Он с отрадой видел,

…что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада, —
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий.

Пушкину же был дорог дворянский дом, где так полно летели его досуги даже в неволе ссылки. Ему казалось, что в материальном отношении положение крестьянства было не так уж плохо. Он находил в среде подвластных помещику крепостных

Везде следы довольства и труда…

Но, несмотря ни на что, Пушкин уже не мог себя чувствовать спокойным. Сколько бы он ни отвлекался в сторону от осознанного им коренного социального противоречия своего времени, как бы он ни старался его смягчить, все же он понимал, что без его разрешения нельзя и самому устроить свою жизнь в согласии с усвоенным идеалом гуманной независимости:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

Сознание необходимости освобождения крестьян никогда не покидало Пушкина.

Пушкин стремился к независимости личности не за счет других, а вместе с другими, рядом с другими людьми. Гуманное чувство, признававшее право на независимость за человеком

вообще, независимо от сословных различий, оскорблялось рабством большинства населения страны. Рабство противоречило идеалу гуманной независимости не только теоретически. Существование рабства накладывало обезличивающую печать на все ступени социальной лестницы. Самодержавие охраняло интересы помещиков против крепостных, но ценой бесправия и обезличения самих помещиков. Право помещика всевластно распоряжаться крестьянином логически дополнялось правом самодержавия и его чиновников бесконтрольно вмешиваться в личную жизнь каждого свободного человека и навязывать ему все, что угодно. Мужику приходилось солоней, чем кому бы то ни было другому, но произвол царствовал во всей стране и над всем ее населением. В крепостническом государстве не независимость, инициатива и оригинальность личности встречали одобрение, а безличность, безгласность, покорность и беспрекословное следование традициям. Общественная мораль и строилась на последних добродетелях, видоизменяясь по сословиям, но не теряя своего основного характера. Независимость, в ее пушкинском понимании, связывала личность с просвещением, с интернациональным движением культуры, с многообразным богатством всего мира; крепостное право влекло за собой ограничение каждой личности ее сословной клеточкой и тем, что было разрешено или приказано начальством.

Творчество Пушкина было проникнуто пафосом освобожденной и независимой гуманной личности. Поэт понял, что крепостное право является основным источником враждебных сил, направленных против стремления личности к независимости. А с другой стороны, он надеялся, что сила, заинтересованная в сохранении крепостного права, сама устранит причины закрепощения и обезличения страны. На деле же оказывалось, что всякий независимый и инициативный шаг просвещенной и гуманной личности влек за собой немедленное и суровое возмездие.

Старая допушкинская и Пушкина окружавшая действительность имела еще прочные корни; силы, которым суждено было ее опрокинуть, еще не сложились, а это значит, что она не могла быть осуждена целиком и полностью и на весах пушкинского разума. В мировоззрении и творчестве Пушкина назрело новое неразрешимое для него противоречие: между стремлением к независимости, вольнолюбием, правом личности на свою мораль, на свой ход жизни и осуждением независимого хода личности, вернее, признанием неизбежности наказания индивидуальности за смелость идти особенным, ей одной свойственным путем.

Противоречие это носило для Пушкина трагически-безвыходный характер, потому что право на наказание со стороны давившего на личность строя еще существовало для него. В творчество Пушкина с исключительной силой вступает тема возмездия.

Мстислав Цявловский
Отголоски рассказов Пушкина в творчестве Гоголя

«Домик в Коломне» Пушкина имел исключительную судьбу в развитии русской литературы. По словам исследователя, «количество подражаний „Домику в Коломне“ огромно. В силу создавшейся традиции почти каждая повесть, написанная пятистопным ямбом, отзывалась „Домиком в Коломне“». Тут же убедительно показано, что «Сашка» и «Сказка для детей» Лермонтова, «Талисман» Фета, «Машенька», Майкова, «Ровесник» Огарева, «Братья» Полонского, «Сон Попова» А. Толстого, поэмы Тургенева «Параша» и «Андрей» написаны под сильнейшим непосредственным воздействием «Домика в Коломне».

В число писателей, подражавших этой поэме Пушкина, надо включить и Гоголя, который слышал эту поэму в чтении самого поэта. О сильнейшем впечатлении, которое произвел на Гоголя «Домик в Коломне», читаем в его известном письме к А.С. Данилевскому от 2 ноября 1831 г.: «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе ‹…› Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная: кухарка, в которой вся Коломна и петербургская природа живая».

Восхищенный Коломной в поэме Пушкина, Гоголь в «Портрете» решил дать свою Коломну.

Пушкин и Гоголь

«„Вам известна та часть города, которую называют Коломною“. Так он начал. „Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движения. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся

целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофею да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни сё, ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за 12 часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофеем поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеят из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединением кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный

осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние…“».

Как видим, в отличие от вышеперечисленных поэтов, авторов поэм, Гоголю «Домик в Коломне» послужил поводом дать широкую картину бытописи. Эти гениальные страницы повести Гоголя являются в русской литературе одним из первых опытов жанра, который впоследствии получит название физиологического очерка. Но этим очерком Коломны не ограничивается воздействие Пушкина на Гоголя в «Портрете». Образ страшного ростовщика, губящего всех обращающихся к нему за помощью, а также рассказ об одной из жертв его – князе Р. – тоже, надо думать, пушкинского происхождения. Что прототипом ростовщика в повести является индус Моджерама Мотомалов, о котором подробно рассказывает в своих мемуарах П.А. Каратыгин, – давно известно в литературе. По свидетельству Каратыгина, этот ростовщик был постоянным кредитором актеров, как известно, издавна проживавших в Коломне, почему можно предположить, что и сам он жил там же.

Пушкин, по выходе из Лицея, жил с родителями до ссылки в 1820 г. именно в этой части Петербурга и, конечно, не мог не знать эту колоритную фигуру.

Весьма вероятно, что Пушкин и подсказал Гоголю мысль вывести в рассказе ростовщика-индуса.

В истории князя Р. в «Портрете» нельзя не узнать, романтически освещенной, с рядом изменений в подробностях, истории Безобразовых. Об этой истории, разыгравшейся в конце 1833 – начале 1834 г., по словам Пушкина, говорил весь город.

Эти месяцы – как раз время самого тесного общения Пушкина с Гоголем, и трудно допустить, чтобы Пушкин, внимательно следивший за этой волновавшей его историей, не делился сведениями о ней с Гоголем.

Вот соответствующие страницы повести Гоголя, примыкающие к описанию обитателей Коломны.

«Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам, и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты».

«Между такими ростовщиками был один… но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины второй».

«Но что страннее всего и что не могло не поразить многих – это была странная судьба всех тех, которые получали от него

деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки, или с умыслом распущенные слухи, – это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны».

«Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слияние нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем.

Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей, и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы

своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движеньи неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя – и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока».

Приведенные отрывки взяты из второй редакции «Портрета», которая писалась в Риме в 1837–1841 гг. В первой редакции, которая писалась в 1834 г. и была напечатана в «Арабесках», вышедших в свет в январе 1835 г., нет даже ни малейшего намека на историю князя Р. Нечего и говорить, что в 1834 г., даже в завуалированном виде, ее нельзя было бы представить цензору. Знаменательно, что даже в тексте второй редакции изложению истории князя Р. предшествует многозначительно подчеркнутое указание, что случай этот происходил в царствование Екатерины II. Сделано это, конечно, для того, чтобы отвести сопоставление истории князя Р. со скандальной историей Безобразовых, главным действующим лицом которой был сам император Николай I.

Подтверждает нашу мысль и то обстоятельство, что, как уже было отмечено в литературе, «никаких исторических черт в сценах с ростовщиком, указывающих на екатерининскую эпоху, в тексте не дано».

Положенная в основу истории князя Р. история брака Безобразова рассказана в общем даже без особенных отличий, но внезапное и непонятное изменение характера героя интерпретируется согласно всей концепции повести как результат действия потусторонней силы.

За неимением данных нельзя сказать, является ли вымыслом в повести Гоголя заем князя Р., т. е. Безобразова, денег у ростовщика. Но ничего невероятного в этом нет, так как Безобразов, как мы знаем, был беден; ростовщик-индус же еще был жив в год свадьбы Безобразова.

Наконец, еще в одной детали повести узнаем мы пушкинский рассказ: мы имеем в виду последние слова приведенного отрывка – об извозчике, зарезавшем седока. Они приводят на память дядьку Сазонова, служившего в Лицее, когда там учился Пушкин. Этот дядька, по словам Корфа, совершил в это самое время шесть или семь убийств. Раскрытие этих преступлений дало повод

Пушкину написать эпиграмму:

Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым:
Мой друг! остался я живым,
Но был уж смерти под косою:
Сазонов был моим слугою,
А Пешель – лекарем моим.

Этого убийцу Пушкин, надо думать, неоднократно вспоминал. Так, английский путешественник Рэйкс пишет, что Пушкин в разговоре с ним в 1830 г., рассказывая об убийствах, совершенных этим Сазоновым, заметил «весьма серьезно», что это был «самый интересный убийца, которого он когда-либо знал».

По словам Рэйкса, Сазонов «безнаказанно совершил восемь убийств, девятое было раскрыто, и он сделал такое признание: „В Царском Селе он нанял сани для поездки, которая обошлась бы ему в 50 копеек. Во время езды он стал соображать, что если он убьет извозчика, то он, конечно, сбережет себе плату за проезд и, быть может, найдет сколько-нибудь денег в его кармане. Ради этого, он очень спокойно вынул нож, ударил им извозчика в спину и затем перерезал ему горло. Ограбив несчастного, он нашел только 24 копейки“».

Рэйкс не рассказывает об остальных убийствах Сазонова; но, каковы бы они ни были, у Гоголя необыкновенность преступления заключается в его кажущейся необоснованности, объясняемой автором опять-таки вмешательством потусторонней силы.

«Портрет» не исчерпывает отражений разговоров Пушкина с Гоголем. Мы видим такие же реминисценции в повестях «Нос» и «Шинель».

Интересную запись находим в дневнике Пушкина под 17 декабря 1833 г.: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежавших Ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки. N. сказал, что мебель придворная и просится в Аничков».

Об этом петербургском происшествии, бывшем предметом разговоров всего города, Пушкин, конечно, беседовал с Гоголем, с которым тесно общался в эти дни. Отголоски этих бесед мы видим в строках повести «Нос», следующих за рассказом о пропаже носа майора Ковалева: «Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей

столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали весь город опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту».

Непосредственно вслед за вышеприведенной записью о движущейся мебели в дневнике Пушкина записано: «Улицы не безопасны. Сухтельн был атакован на Дворцовой площади и ограблен. Полиция, видно, занимается политикой, а не ворами и мостовою – Блудова обокрали прошедшею ночью».

На эту тему дерзких ограблений в центре города высокопоставленных лиц написаны последние страницы «Шинели» Гоголя: «Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь? Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему однако же такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, но даже надворных советников подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели».

Этот гротескно-фантастический конец Акакия Акакиевича в основе, повторяем, построен на рассказанных Пушкиным случаях.

Огромная роль, которую играл в творчестве Гоголя Пушкин, дававший ему и темы и сюжеты, общеизвестна.

Все приведенные в настоящей статье тексты из повестей Гоголя – тоже пушкинского происхождения, но совсем другой

природы. Ни истории князя Р., ни извозчика, убивающего седока, ни движущейся мебели, ни смелых грабежей Пушкин, конечно, не давал Гоголю как темы, но обо всем этом у них шли разговоры, и Гоголь глубоко своеобразно использовал все это впоследствии в своих гениальных повестях.

10 и 11 мая 1947 г.

Сергей Бонди
Сказки Пушкина

Сказки в русском народном духе Пушкин писал на протяжении почти всего своего творчества, с 1814 до 1834 г. Они резко разделяются на две группы: ранние (до 1825 г.) и поздние. Наше представление о пушкинских сказках, как о важной и серьезной области его поэзии, относится только к поздним его сказкам («Сказка о попе», «О медведихе», «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне» и «О золотом петушке»).

Ранние сказки Пушкина, а также поэмы на сказочные сюжеты («Бова», «Царь Никита и сорок его дочерей») вовсе лишены подлинной народности, свойственной зрелому пушкинскому творчеству. В них мы не найдем ни выражения чувств и интересов народа, крестьянства, ни сознательного усвоения и переработки форм и приемов устного народного творчества. Пушкин в них лишь использует отдельные элементы народной поэзии: сказочный сюжет или мотив, имена сказочных персонажей, отдельные обороты народного стиля и языка. Подобным образом использовали народное творчество почти все русские писатели XVIII и начала XIX в.

Устная народная поэзия сопровождала всю жизнь крестьянина, от рождения до смерти, от колыбельной песенки до похоронного причитания. Повсюду в народе пелись песни, рассказывались сказки. Пели ямщики в пути, песни звучали во время работы и в праздники, в хороводах и на свадьбах, пели и рассказывали на зимних посиделках. Весь быт народа, его страдания и радости, его борьба, его исторические воспоминания – все это получало выражение в народной поэзии, в песнях, былинах, сказках, преданиях, передававшихся от поколения к поколению, обновлявшихся или создававшихся впервые.

Сергей Бонди

Писатели XVIII и начала XIX в. с детства были окружены этой стихией народной поэзии. Она, естественно, проникала и в их собственное творчество. Подражания народным песням или сказкам писали почти все поэты, независимо от их социальных и политических взглядов: и Сумароков, и Державин, и Радищев, и Карамзин, и Дельвиг, и Жуковский, и Катенин, и многие другие. Но из всего богатого и разнообразного моря народной поэзии дворянскими писателями того времени воспроизводились почти исключительно темы и сюжеты, не затрагивающие социальных противоречий крепостной действительности: лирические любовные песни и волшебные сказки. Иногда, как в ранних сказках и поэмах Пушкина (или в «Бове» Радищева), народные образы привлекались для создания грубовато-эротических картин и сюжетов.

Переход Пушкина в середине 20-х гг. к реализму

сопровождался у него глубоким интересом к народу. Юношеский лирические сетования на судьбу крепостного крестьянина («Увижу ли, друзья, народ неугнетенный?»), романтический горькие жалобы на отсутствие революционных настроений в народе («Паситесь, мирные народы! // Вас не пробудит чести клич») заменяются теперь пристальным и проницательным изучением народа, его жизни и потребностей, его «души». Этому изучению содействовало пребывание поэта в ссылке в Михайловском в самом тесном общении с крестьянами и дворовыми. В отличие от декабристов Пушкин старается подойти ближе к народу, понять его интересы, мечты, идеалы. Как поэт, он знает, что все чувства и мысли народа выражаются в его поэтическом творчестве. И Пушкин принимается внимательно изучать народную поэзию. Он записывает песни и народные обряды, заставляет свою няню снова рассказывать ее сказки, знакомые ему еще с детства, – теперь он по-иному их воспринимает, ищет в них выражения «народного духа», вознаграждая тем «недостатки проклятого своего воспитания».

Пушкин не ограничивается задачей пассивного изучения народной поэзии: он стремится проникнуть в нее, творчески овладеть ее содержанием и формой, научиться самому создавать такие же песни и сказки, какие создавали безыменные народные поэты. И это ему удалось настолько, что до недавнего времени некоторые из его произведений в народном духе (например, «Песни о Стеньке Разине») исследователи принимали за записи подлинно народных песен. В отличие от всех предшественников, Пушкин в своих «подражаниях» касается прежде всего социальных и политических тем народной жизни. Он пишет три «Песни о Стеньке Разине», «единственном поэтическом лице русской истории», как назвал его Пушкин в одном письме. Серьезные социальные темы затрагивает он и в своих сказках.

Своего рода ступенью к народным сказкам были у Пушкина две баллады на народные сюжеты: о девушке, публично разоблачившей злодеев разбойников («Жених», 1825), и о страшном возмездии мужику, из трусости нарушившему свой нравственный долг («Утопленник», 1828).

С 1830 по 1834 г. Пушкиным было написано пять народных сказок в стихах, а одна («О медведихе») осталась незаконченной. Эти сказки впервые вводили в литературу подлинную, не приноровленную к интересам дворянского читателя народную поэзию, то есть не только занимательные, фантастические приключения героев или любовные переживания «красной девицы» и «доброго молодца». В пушкинских сказках затрагивается социальная тема (о жадном попе и батраке,

наказавшем его, о мужике, которого тем больше угнетают, чем больше благ доставляет он своим угнетателям), говорится и о моральных идеалах народа («Сказка о мертвой царевне») и т. п.

Самым существенным отступлением пушкинских сказок от типа народной сказки была стихотворная форма, которую придал поэт этому прозаическому народному жанру, подобно тому, как в «Евгении Онегине» он превратил традиционный прозаический жанр романа в «роман в стихах».

Пушкиным созданы сказки двух типов. В одних («Сказка о попе», «Сказка о медведихе» и «Сказка о рыбаке и рыбке») Пушкин стремится воспроизвести не только дух, сюжеты и образы народного творчества, но и народные формы стиха (песенного, поговорочного, раешного), языка и стиля. Сказки о попе и о медведихе написаны подлинно народным стихом, «Сказка о рыбаке и рыбке» – стихом, созданным самим Пушкиным и близким по своему строению к некоторым формам народного стиха. Поэт здесь как бы перевоплощается в народного сказителя. Мы не найдем в этих сказках ни одного слова, ни одного оборота, чуждого подлинно народной поэзии.

Остальные три сказки («О царе Салтане», «О мертвой царевне», «О золотом петушке») написаны более «литературно» – литературным, равномерным стихом (четырехстопный хорей с парными рифмами); Пушкин употребляет в них иной раз чисто литературные поэтические выражения и обороты, хотя по общему духу, мотивам и образам они полностью сохраняют свой народный характер.

Пушкин хорошо знал, что многие сказочные сюжеты или отдельные мотивы существуют в устном творчестве разных народов, переходят, видоизменяясь, от одного к другому. Поэтому он, подобно настоящему народному сказителю, брал, когда это было нужно, те или иные мотивы, детали сюжета из иноязычного фольклора, чудесным образом превращая их в подлинно русские. Немало вносил он в сказки и своего собственного: по-своему изменял народный сюжет, упрощал или усложнял его, вводил свои образы (золотой рыбки, царевны-Лебедь и т. п.).

В своих сказках Пушкин использовал элементы и других жанров народной поэзии – песен, заговоров, причитаний. Таковы, например, заклинание Гвидона, обращенное к волне, или королевича Елисея – к солнцу, месяцу и ветру, напоминающие плач Ярославны из «Слова о полку Игореве».

Сказки Пушкина – не простое переложение в стихи подлинных сказок, а сложный по своему составу жанр. Пушкин выступает в них и как реконструктор испорченной в устной

народной передаче народной сказки, и как равноправный участник в ее создании.

Но понятые в их значении современниками, недооцененные позднейшей критикой, сказки Пушкина были приняты народом. Одна из сказок Пушкина («О рыбаке и рыбке») была записана со слов народного сказителя как чисто народная сказка.

Викентий Вересаев
О двух планах в творчестве Пушкина

I

В «Невском альманахе» за 1829 год было помещено несколько картинок к шумевшему в то время «Евгению Онегину». Одна картинка изображала Татьяну за письмом к Онегину. Дебелая девица с лицом коровницы сидит на стуле в одной кисейно-прозрачной рубашке, спускающейся с плеча, и держит в руке кусок бумаги. Пушкин написал на эту картинку эпиграмму. Напечатать ее целиком не разрешила бы самая снисходительная цензура. Вот она с соответственными пропусками:

Пупок чернеет сквозь рубашку,
Наружу…… – милый вид!
Татьяна мнет в руке бумажку,
Зане – живот у ней болит.
Она……. поутру встала
При бледных месяца лучах
И на…….. изорвала,
Конечно, «Невский альманах».

Я не представляю себе человека, сколько-нибудь любящего Пушкина и его поэзию, который бы рассмеялся, прочитав эту эпиграмму. Как-никак тут задевается не только плохая картинка, но и сама Татьяна – один из самых прекрасных и целомудренных женских образов в нашей литературе. Это совсем то же, что для верующего, например, читать эпиграмму, где, по поводу плохого образа богоматери, в вульгарно-цинических выражениях описывались бы тело и разные интимные отправления богоматери.

Викентий Вересаев

Читаешь эту эпиграмму на Татьяну, и в негодовании хочется воскликнуть:

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля;
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери!

Но сейчас же приходит в голову: да ведь эпиграмму-то написал сам Пушкин – создатель образа Татьяны! Что же это? Рафаэль с озорною улыбкою пририсовывает парикмахерские усы к прекраснейшей из своих мадонн, Данте на мотив похабной уличной песенки напевает суровые терцины вступления к «Аду»! И недоумевающая неловкость овладевает душой.

А потом еще соображаешь вот что: по какому случаю говорится у Пушкина о Рафаэле, Данте и презренных фиглярах? Вы помните? Моцарт шел к Сальери и, проходя мимо трактира,

услышал, как слепой скрипач разыгрывает арию Моцарта. Потащил с собою старика к Сальери и приказывает ему сыграть что-нибудь из Моцарта. Старик играет, Моцарт хохочет. Сальери с негодованием спрашивает: «И ты смеяться можешь?» А Моцарт ему: «Ах, Сальери! Ужель и сам ты не смеешься?» Вот тут-то Сальери и говорит о негодных малярах и фиглярах презренных. Сейчас же вслед за этим Моцарт играет Сальери недавно сочиненную им пьесу. Сальери слушает пораженный.

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя!

Это, значит, не случайно было у Пушкина, он это рисует в Моцарте как нечто и для того характерное. Художник – «недостоин сам себя»; недостоин тех высоких произведений, которые он создает. В жизни он – один, в творчестве – совсем другой. Пушкин настойчиво и упорно отмечает эту характерную двойственность, отличающую поэта.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол…

И так далее. В «Египетских ночах» Чарский посещает в трактирном номере итальянца-импровизатора. Сейчас этот итальянец – вдохновенный поэт с гордо поднятою головою, изумляющий и трогающий. И сейчас же вслед за этим – мелкий торгаш, вызывающий отвращение своею дикою жадностью. И эпиграф к этой главе: «Я царь, я раб, я червь, я бог».

Конечно, так уверенно утверждая это положение о двух ипостасях поэта – жизненной и художественной, – Пушкин черпал его из собственного опыта. Действительно, его изучая, мы, как от очков с разными стеклами, все время видим какой-то двоящийся образ, от которого режет в глазах и ломит в висках.

Как слить в одно этот двойной образ?

II

Уолт Уитмен говорит: «В твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты зол или пошл, это не укроется ни от кого. Если ты любишь, чтоб во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или низменно смотришь на женщину, это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь».

В общем это несомненно верно – и верно, конечно, обо всяком художнике, не только о художнике слова. Его характер, темперамент, вся его внутренняя сущность полностью отражаются в его художественном творчестве. Папа Лев X, например, говорил об одном крупном художнике Возрождения: «Я боюсь его, он ужасен, он нагоняет на людей страх, его совершенно нельзя выдержать!» Нам совсем не нужно знать биографий художников того времени, нам достаточно быть знакомыми с их художественными произведениями, чтобы с полною уверенностью сказать: Лев X имеет здесь в виду не Боттичелли, не Рафаэля, не Леонардо да Винчи, а конечно – Микеланджело.

Достоевский в одном письме пишет о современном ему беллетристе: «… джентльмен с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого бог, будто на смех, одарил блестящим талантом». Не приходится гадать, кого тут имеет в виду Достоевский, не нужно знать ничьей биографии, чтобы, на основании одних лишь художественных произведений писателя, сказать с тою же уверенностью: речь идет, конечно, о Гончарове. Непосредственно из их произведений перед нами живьем встают и мягкий, безвольный, фатоватый Тургенев, и вечно резонерствующий, полный черноземной силищи Лев Толстой, и бледноликий Достоевский с горящими глазами, с распадающеюся на части душою.

И совсем слова Уитмена неприложимы к Пушкину. Уже современники Пушкина отмечали это странное отсутствие его личности в художественных его произведениях. Гоголь писал в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (XXXI): «При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого… Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков – удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека!»

И правда. Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы об его личности

самое неправильное и фантастическое представление.

В поэзии Пушкина: какая гармоническая уравновешенность, какое отсутствие всякой бурности и страстности, какая просветленная, величавая «атараксия»!

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей.

Если бы мы заранее не знали жизни Пушкина, мы были бы изумлены, узнав, что в жизни это был человек, совершенно лишенный способности стать выше страсти, что страсти крутили и трепали его душу, как вихрь легкую соломинку. Непосредственного отражения этого бурного кипения страстей мы нигде не находим в поэзии Пушкина.

Последние полгода его жизни. Пушкин захлебывается в волнах непрерывного бешенства, злобы, ревности, отчаяния. Никаких не видно выходов, зверь затравлен, и впереди только одно – замаскированное самоубийство. И никакого отражения этого состояния мы не находим в поэзии Пушкина того времени. «Молитва», «Когда за городом задумчив я брожу…», «Памятник», «На статуи», «19 октября 1836 г.», «Пора, мой друг, пора…» – все спокойные, величавые произведения, полные душевной тишины или светлой печали. Можно себе представить, как бы прорвалось душевное состояние, подобное пушкинскому, у поэта однопланного, у которого поэзия является непосредственным отражением его душевных переживаний, – например у Байрона!

У Пушкина прямо поражает бьющее в глаза несоответствие между его жизненными переживаниями и отражениями их в его поэзии. Какие настроения владели поэтом в такую-то эпоху его жизни? Казалось бы, чего проще? Изучить поэтические его произведения за эту эпоху – и мы будем иметь полную картину его жизненных переживаний. Таким простым путем (к сожалению, и до сих пор многие пушкинисты ходят этим путем) мы никогда не придем к познанию подлинных переживаний и настроений Пушкина в жизни. Внимательные исследователи и наблюдатели постоянно отмечают это несовпадение жизненных и поэтических настроений Пушкина, эту его «двупланность».

П.В. Анненков пишет о бешеном кишиневском периоде жизни Пушкина: «Если бы судить о Пушкине по изящным, чистым произведениям лирического характера, выданным им с 1821 по 1823 г., то никому бы не пришло в голову, что они написаны в самую бурную эпоху его жизни, в период пыла и порывов, Sturm und Drang, какой немногие изживали на веку своем» {<Анненков П.В.> Пушкин в Александровскую эпоху. <СПб., 1874.> С. 212.}.

Н.М. Смирнов сообщает о годах ссыльной жизни Пушкина в селе Михайловском: «В эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных произведений, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния» {Русск<ий> архив. 1883. 11. С. 331.}.

Или вот – осенью 1830 года Пушкин, уже женихом Гончаровой, уехал в нижегородскую свою деревню Болдино для устройства имущественных своих дел. Думал пробыть месяц – пробыл три; разразилась холера, карантины отрезали его от Москвы. Письма от невесты приходят неправильно, «дражайший» папаша сообщает сплетни, что она выходит за другого. Пушкин волнуется, мечется, три раза пытается прорваться в Москву, но неудачно. Эти три месяца вынужденного уединения были для Пушкина временем колоссальной художественной производительности. И во всех многочисленных этих произведениях – никакого отражения тех чувств, которые так напряженно и ярко кипят в его письмах того времени! Как будто и нет никакой Гончаровой, нет по поводу ее ни сомнений, ни беспокойства, ни порываний. Мало того. Перед Пушкиным неотступно стоит обольстительный призрак какой-то давно умершей его возлюбленной, и он страстно тянется к ней всем своим существом и воспевает ее в целом ряде стихотворений («Заклинание», «Для берегов отчизны…»).

В своей статье «Об автобиографичности Пушкина» я привел много фактов, показывающих, что в жизни нередко данное лицо или событие вызывали у Пушкина впечатление диаметрально противоположное тому, какое он отображал позднее в поэтической переработке. Отсылая интересующегося читателя к указанной статье, приведу здесь только два-три примера.

В письме к Дельвигу, описывая свое посещение Бахчисарайского фонтана, Пушкин рассказывает, что он приехал в Бахчисарай больной лихорадкою, испытал большую досаду при виде небрежения, в котором истлевает ханский дворец, а прославленный фонтан описывает так: «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода». В своем же стихотворении к фонтану Бахчисарайского дворца Пушкин описывает «немолчный говор» этого фонтана, сообщает, что его серебряная пыль кропила его «росою хладной» и что он внимал его журчанию с большой отрадой.

В июле 1825 года Пушкин виделся в Тригорском с Анной Петровной Керн. Это была веселая барынька, не весьма строгих нравов. И до этой встречи, в письмах к ее сожителю Родзянке, Пушкин отзывался о г-же Керн весьма игриво, и после встречи

писал ей письма самого домогательнострастного характера, и в письмах к друзьям называл ее «вавилонскою блудницею». А во время этой встречи Пушкин вручил ей знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», где эту самую «вавилонскую блудницу» восторженно величал «гением чистой красоты».

В сентябре 1835 года Пушкин писал жене из Михайловского: «Около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу». А в стихотворении «Опять на родине» впечатление от этой же молодой поросли – знаменитое приветствование идущей на смену молодой жизни: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!..»

Рядом с «бесстрастием» пушкинской поэзии идет столь же для нее характерная чистота. Имею в виду зрелые его произведения, после «Бахчисарайского фонтана». Ни одной самой легкой фривольности. В очаровании высокой целомудренности и чистоты стоит перед нами созданный Пушкиным образ Татьяны. Пушкин пишет такие удивительные вещи, как «Когда в объятия мои…» и особенно «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…». Стихотворения, по-видимому, обращены к его жене. Вот второе из них:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле, —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

В сущности, перед нами подробнейшее, чисто физиологическое описание полового акта. А между тем читаешь – и изумляешься: «Какое произошло волшебство, что грязное неприличие, голая физиология претворились в такую чистую, глубоко целомудренную красоту?» П.И. Бартенев рассказывал

Н.О. Лернеру, что, когда он прочитал это стихотворение С.Т. Аксакову, Аксаков побледнел от восторга и воскликнул: «Боже, как он об этом рассказал!» {Соч<инения> Пушкина. Изд-во Брокгауза – Ефрона. <Пг., 1915.> Т. VI. С. 426.}

А между тем вот что писал Пушкин своей приятельнице Е.М. Хитрово: «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, – это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Хотите, чтоб я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские» {Письма Пушкина к Е.М. Хитрово. Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1927. С. 139.}. Тут есть, может быть, некоторое озорное преувеличение. Однако все, знавшие Пушкина, дружно свидетельствуют об исключительном цинизме, отличавшем его отношение к женщинам, – цинизме, поражавшем даже в то достаточно циничное время.

Молодой приятель Пушкина, Алексей Вульф, пишет в своем дневнике: «Молодую красавицу вчера начал я знакомить с техническими терминами любви: потом, по методе Мефистофеля (Пушкина), надо ее воображение занять сладострастными картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, кто им питать может их, и теряет ко всему другому вкус: им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности» {Пушкин и его современники. XXI–XXII. С. 141.}. Это относится к середине двадцатых годов. Весною 1829 года С.Т. Аксаков писал С.П. Шевыреву: «С неделю назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что Мицкевич два раза принужден был сказать: „Господа! Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах“» {Русск<ий> архив. 1878. II. С. 50.}. А вот рассказ князя Павла Вяземского, относящийся уже к 1836 году, то есть к последнему году жизни Пушкина; Вяземскому было тогда 16 лет. «В это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки, чтоб заставить женщин уважать вас» {<Вяземский П.П.> Собр. соч. <СПб., 1893.> С. 546.}.

И таков Пушкин во всех проявлениях. В жизни – суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до безумия ослепляемый страстью. В поэзии – серьезный, несравненно

мудрый и ослепительно светлый, – «весь выше мира и страстей».

Это поразительное несоответствие между живою личностью поэта и ее отражением в его творчестве, эта странная двойственность Пушкина отмечалась уже давно и не раз. В 1890 году, во время открытия памятника Пушкину в Москве, Ив. С. Аксаков говорил в своей речи: «Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко трагическое сочетание двух самых противоположных типов, как человека и как художника: знойный африканский темперамент и чисто русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавшееся; страстность природы и воздержность колорита в поэзии, самообладание мастера, неизменно строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, ветреность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни – и в то же время серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства. Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двойственность (стихотворение „Пока не требует поэта…“). Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих, божественных даров в те минуты, когда сознавал свое „ничтожество“»? {Русск<ий> архив. 1880. II. С. 478.}

Это все верно. Мне только кажется, что Аксаков ошибается, думая, будто Пушкин трагически переживал разлад между жизнью и поэзией. В дальнейшем изложении мы увидим, что для Пушкина тут не было решительно никакой трагедии. И более прав Владимир Соловьев, говоря так: «Возвращаясь к жизни, Пушкин сейчас же переставал верить в пережитое озарение. Те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такою бессвязностью, такою непроходимою пропастью между поэзией и житейскою практикою… Он с полною ясностью отмечал противоречие, но как-то легко с ним мирился. Резкий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорбляя его нравственного слуха… Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской практики, оставались только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом. Такое раздвоение между поэзией, то есть жизнью, творчески просветленною, и жизнью действительною, или практическою, иногда бывает поразительно у Пушкина»

{Судьба Пушкина // Владимир Соловьев. Собр. соч. Т. VIII. С. 32, 34, 36.}.

Но при этом необходимо подчеркнуть вот что. Конечно, не откуда-то сверху, не с каких-нибудь мистических высот спускалось на поэта озарение, так высоко поднимавшее его душу над жизнью. Данные для этого озарения лежали в его собственном подсознании. Но в обычное время соответственные настроения переживались Пушкиным как бы в полусне, смутно и недейственно, и только в состоянии вдохновения властно завладевали всею его душою. Под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи. Это доказала его смерть. Вырванная из темной обыденности, душа его вдруг засияла ослепительным светом, всех изумляя своим благородством и величавой простотою.

III

Насчет одного, кажется, все согласны – это насчет удивительной душевной гармоничности и жизнерадостности Пушкина. В.Д. Спасович пишет: «Пушкин был по преимуществу веселый человек, весь – жизнь, весь – радость» {Спасович В.Д. Сочинения. Т. 1. СПб., 1889. Речь о Пушкине 31 января 1887 г. С. 210.}. Д.Н. Овсянико-Куликовский: «Пушкин – один из самых жизнерадостных поэтов мира», он обладал «природной, неодолимой жизнерадостностью» {<Овсянико-Куликовский Д.Н.> Собр. соч. <СПб., 1909> Т. IV. С. 134, 135.}. Д.С. Мережковский говорит о «необычайной бодрости, ясности его духа, никогда не изменявшей ему жизнерадостности… Пушкин – самый светлый, самый жизнерадостный из новых гениев» {<Мережковский Д.С.> Полн. собр. соч. <М.> 1914. Т. XVIII. С. 100, 103.}. И так дальше без конца.

Нет ничего ошибочнее такого взгляда на Пушкина. Все знавшие его отмечают его закатистый, веселый, заражающий смех. Художник Брюллов отзывался: «Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны!» Но знаменитый смех Пушкина – это того рода смех, о котором Ницше сказал: «Человек страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное, – по справедливости, и самое веселое».

Л.Н. Павлищев сообщает со слов своей матери, сестры Пушкина: «Переходы от порывов веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обусловливалось, по словам его сестры, нервною раздражительностью в высшей степени. Нервы его ходили всегда, как на шарнирах» {<Павлищев Л.Н.> Воспоминания о Пушкине. <М., 1880> С. 156.}. Барон Е.Ф. Розен пишет: «Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти; чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему не надобно было причины, нужна была только придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и как будто бы ему самому при этом невесело на душе» {Ссылка на мертвых // Сын отечества. 1847. Кн. 6. Отд. III. С. 27.}. В этом отношении очень ценно сообщение Ксенофонта Полевого – оно внушает особенное доверие потому, что автор приводит мнение о себе Пушкина с большим недоумением и решительно с ним не соглашается. «Я сказал Пушкину, – рассказывает Полевой, – что в сочинениях его встречается иногда

такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его – грустный, меланхолический, и если иногда он бывает в веселом расположении, то редко и ненадолго. Мне кажется и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер» {Полевой Кс. Записки. <СПб., 1888> С. 276.}.

Так определял Пушкин свой характер не только в беседе с Кс. Полевым. В письме к В.П. Зубкову от 1 декабря 1826 года он пишет: «Мой нрав – неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый». В другом письме Пушкин пишет: «Я мнителен и хандрлив (каково словечко?)». Пересмотрите с этой точки зрения письма Пушкина. Вечный, неизменный лейтмотив: скука, скука; тоска, тоска… «Я сегодня зол». «Если бы знал ты, как часто бываю я подвержен так называемой хандре». «Скучно, моя радость, вот припев моей жизни». Скучно на юге, скучно в Михайловском. Тоска в Петербурге, тоска в Москве. Цитировать можно до бесконечности. И рядом с этим – пара бессменных «жизнерадостных» цитат, удостоверяющих несокрушимое жизнелюбие Пушкина – письмо его к Плетневу от 22 июля 1831 года: «Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры…» – и письмо к Нащокину в октябре 1835 года о том, как хорошо жить нехолостяком, окруженным шумящею молодою порослью.

Возражают: эти нерадостные настроения Пушкина вызывались тяжелыми обстоятельствами, в которых он находился. Но жизнерадостность не в том, чтобы радоваться жизни в моменты счастья. В жизни самого несчастливого человека бывают дни и недели, когда вдруг судьба осыплет его радостью, окружит блеском солнца, сверкающею зеленью, влюбленными девичьими улыбками. В эти минуты быть жизнерадостным немудрено; таковы у Пушкина были, например, недели, проведенные осенью 1820 года в Гурзуфе. Жизнерадостность в том, чтобы силою своею жизненности одолевать всякое горе, всякую тоску и скуку, чтобы ударам судьбы противопоставлять ту «могучую стойкость», которою были сильны древние эллины и выразители их духа – Гомер и Архилох. Архилох говорит:

Но и от зол неизбывных богами нам послано средство.
Стойкость могучая, друг, – вот этот божеский дар.
То одного, то другого судьба поражает. Сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде.
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.

Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова, отражающего истинно жизнелюбивую душу самого Толстого: пленный Пьер «испытывал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек. И именно в это самое время от получил то спокойствие и довольствие собой, к которым он тщетно стремился прежде… Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни… В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом. Но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину, – он узнал, что на свете нет ничего страшного».

Вот – истинное жизнелюбие, силою своею жизненности преодолевающее все страхи, тяготы и мелочи жизни, умеющее прозревать радостное существо жизни сквозь толщу всех ее уродств и неустройств. У Пушкина этого не было. Он беспомощно бился в захлестывавших его мелочах, эти мелочи заслоняли от него жизнь и растрепывали душу, он вечно мечется, вечно раздражен и растерян. «У меня голова кругом идет» – выражение, то и дело встречающееся в письмах. Жуковский писал после смерти Пушкина: «Жизнь Пушкина была мучительная, – тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные». Нигде в жизни Пушкина мы не видим и не чувствуем веяния живой жизни, торжествующего биения силы жизни, умиряющей и гармонизирующей, кипящий вокруг человека и в нем самом жизненный хаос.

Так было у Пушкина в жизни. Но и в художестве его мы встречаем очень мало жизнерадостности. И здесь еще страннее слышать эти вечные характеристики Пушкина как поэта легкой и светлой радости жизни.

«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» «Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я». «День каждый, каждую годину привык я думой провожать, Грядущей смерти годовщину меж них стараясь угадать». «Жизни мышья беготня…» «Холодный ключ забвенья, – он слаще всех жар сердце утолит». «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет». И так дальше до бесконечности. И в противовес этому опять-таки – две-три бессменно-дежурных цитатки, знаменующих жизнелюбие Пушкина. В конце шестой песни «Евгения Онегина»:

… так и быть, простимся дружно,
О, юность легкая моя!

Благодарю тебя. Тобою
Среди тревог и в тишине
Я насладился… и вполне;

Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь,
От жизни прошлой отдохнуть.

Это – в последних строфах шестой песни. Но уже в начале седьмой песни, всего через два-три месяца после написания приведенных жизнелюбивых строк, поэт спрашивал:

Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу, мертвую давно,
И все ей кажется темно?

Потом еще, конечно: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Вот, кажется, и все, что говорит о несокрушимом жизнелюбии Пушкина. Какие затруднения приходится преодолевать критику, конструирующему «жизнерадостность» Пушкина, показывает курьезная статья Р.И. Иванова-Разумника об «Евгении Онегине». Это – не случайная газетная статейка, – она помещена в виде введения к «Онегину» в фундаментальном издании Пушкина Брокгауза-Ефрона и бережно перепечатана автором в собрании его сочинений.

«Мир должен быть принят нами во всей его полноте, – пишет Иванов-Разумник. – Выше всего стоит, над всеми царит ясная, солнечная, радостная жизнь, не имеющая объективного смысла, но великая в своей субъективной ценности: вот постоянный „пафос“ поэзии Пушкина, ее вечная сущность» {<Иванов-Разумник.> Сочинения. V. <Пг., 1916.> С. 106.}. Статья Иванова-Разумника представляет любопытный образчик чисто гипнотического способа убеждения читателя. Доказательства, им приводимые, поразительно неубедительны, но автор настойчиво повторяет и повторяет: «В Пушкине победила сама жизнь, радостное чувство красоты ее, признание не ценности в ней, а ценности ее самой по себе». «Полнота бытия и его напряженность – величайшая субъективная цель жизни человека – вот глубокая стихийная мудрость Пушкина, вот бессознательная философия „Евгения Онегина“» и т. д. И от этого назойливого повторения у

читателя, наконец, начинает складываться впечатление, что Пушкин действительно горел в своей поэзии этим «пафосом жизни». Если, однако, не поддаваясь внушению автора, мы вглядимся в его доводы, то будем поражены их убожеством.

Чего-чего он ни выколупывает из Пушкина, чтоб только обосновать свое утверждение! Одним из краеугольных камней воздвигаемого им здания являются стихи, которые Ленский пишет перед дуэлью:

Прав судьбы закон.
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.

«В такие формы, – замечает Иванов-Разумник, – вылилось ясное, простое и величавое в своей простоте отношение поэта к „мировому злу“; это была не надуманная теория, это было врожденное мировосчувствование, стихийная мудрость ясного эллинского отношения к миру». Да, вот именно, – «в такие формы»! «Так он писал, темно и вяло», – отзывается Пушкин о стихах Ленского. И в этих-то «темных и вялых» стихах Пушкин и вылил свое задушевнейшее и глубочайшее мироотношение! Не нашел более подходящего случая, где его высказать.

Впрочем, это еще что! Слушайте дальше. «Быть может, лучшей характеристикой сущности всей стихийной мудрости Пушкина является одна из строк довольно слабой переделки Ф. Клюшниковым {Почему Ф. Клюшниковым? Стихотворения свои Клюшников подписывал буквой фитой, но звали его Иван Петрович.} стихотворения „26 мая 1828 года“:

Жизнь для жизни мне дана…»

Вот. Строка третьестепенного поэта из слабой переделки пушкинского стихотворения, служащая лучшею характеристикою всей стихийной мудрости Пушкина! Стишок Нестора Кукольника, резюмирующий Шекспира, фраза из романа Михайлова-Шеллера, подводящая итоги Достоевскому! Иванов-Разумник спешит прибавить:

«И сам Пушкин почти буквально этими же словами высказал свою мысль в послании „К вельможе“:

Ты понял жизни цель; счастливый человек,

Для жизни ты живешь…»

Если «почти буквально», так отчего было просто не привести самого Пушкина, зачем было в первую голову тревожить жиденькую тень Ивана Клюшникова? Оттого, что слова Пушкина в последней цитате имеют очень узкий смысл. Это сразу стало бы очевидным, если бы автор продолжил цитату:

Свой долгий, ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил…
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.

И т. д.

Словом – легковесная философия анакреонтизма и вульгарного эпикурейства, характеризующая душевный строй вельможи, сына восемнадцатого века. Вот почему и пришлось нашему критику на первом месте поставить стишок Клюшникова.

Помните ли вы, далее, глубоко пессимистические заключительные строфы «Онегина» о счастье того, кто рано оставил праздник жизни? Настроение, чрезвычайно характерное для упадочного человека. Подпольный человек Достоевского пишет: «Дольше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет». И Иван Карамазов говорит: «… уж как припал я к кубку жизни, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! Впрочем, к тридцати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду… сам не знаю, куда». В том-то и сказывается настоящий «пафос жизни», настоящая «полнота бытия», что человек не рассчитывает боязливо своих сил на короткий срок, что во всех стадиях своей жизни умеет находить красоту и полноту. И эту-то глубоко жизнеотрицательную заключительную строфу «Онегина» Р.И. Иванов-Разумник ухитряется использовать также в качестве доказательства солнечного жизнелюбия Пушкина.

«Исполненные прозрачной грусти последние строки романа заключают созвучным аккордом эту стихийную мудрость поэта. Не в объективных целях бога или природы смысл жизни, не в продолжительности переживаний цель человека, а в полноте и яркости этих переживаний и в их силе, разнообразии, стройности; и не тот мудр и счастлив, кто, подобно гончаровскому Штольцу (и самому Гончарову), считает нормальным назначением

человека „прожить… четыре возраста и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно“, а тот, кто жил всеми сторонами души, всей полнотой бытия – и не дожил до ужасной старости Штольца-Гончарова; тот счастлив и блажен,

… кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим…»

Но ведь есть не только старость Штольца и Гончарова. Есть старость летописца Пимена, старого цыгана из «Цыган», старость Льва Толстого, Гете. Гете писал Гегелю: «Я всегда радуюсь вашему расположению ко мне, как одному из прекраснейших цветов все более развивающейся весны моей души». Гете в это время было семьдесят пять лет. В 1898 году Лев Толстой записывает в дневнике: «Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это – не воображение, а ясно сознаваемая, как тепло, холод, перемена души, переход от путаницы, страдания, к ясности и спокойствию. Как будто выросли крылья».

Вот как воспринимается старость истинным жизнелюбием, вот как и сама старость может увеличивать и углублять истинную «полноту бытия».

IV

Пушкин пишет в одном письме: «Черт меня догадал думать о счастье, – как будто я для него создан!»

Однако было одно счастье, несомненное и прочное, которое Пушкин знал хорошо и о котором он с удивительным постоянством, нигде себе не противореча, твердит с юных лет до смерти. Это счастье – счастье ухода от живой жизни в мир светлой мечты. Уже пятнадцати-шестнадцати лет он пишет, обращаясь к фантазии: «Что было бы со мною, богиня, без тебя?» («К сестре», 1814). И взывает ко сну: «Веди меня ко счастью забвения тропой!» («Городок», 1814).

Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум… обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом.

(«Мечтателю», 1815)

В мечтах все радости земные:
Судьбы всемощнее поэт.

(«Послание к Юдину», 1815)

Где мир, одной мечте послушный?
Мне настоящий опустел.

(«Окно», 1816)

Так было в отрочестве. И так всю жизнь. В эпилоге к «Руслану» Пушкин пишет:

Я пел – и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной…

Очень характерно черновое стихотворение 1821 г. «Не тем горжусь…»: поэт гордится не силою своего таланта и действием его на людей, не общественными своими заслугами в борьбе со злобою и тиранами, не славою своею:

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена:
Самолюбивых дум отрада,
Мечтанья суетного сна.

Вариант:

До гроба счастие отныне
Мечтанья неземного сна.

В 1829 году:

О, нет, мне жизнь не надоела…
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья…

«Вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой…» Самое в них ценное, – что они дают забвение окружающей реальной жизни. «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображеньем…» «Я с вами знал все, что завидно для поэта: забвенье жизни в бурях света…» В «Египетских ночах» Пушкин рассказывает про поэта Чарского, образу которого им придан ярко выраженный автобиографический характер: «Чарский признавался искренним своим друзьям, что только во время писания он и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь».

Творчество, искусство – это для Пушкина единственная сила, способная питать душу поэта и не дать ей задохнуться в грубой, пошлой и по самому своему существу чуждой поэту стихии жизни:

А ты, младое вдохновенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь

И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!

Князь П.А. Вяземский рассказывает про Пушкина: «При нем, в нем глубоко таилась охранительная и спасительная сила. Эта сила была любовь к труду, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался» {<Вяземский П.А.> Полн. собр. соч. <СПб., 1879.> Т. II. С. 372.}. И П.В. Анненков сообщает: «Трудно себе и представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина чистое творчество, указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался нравственно, когда приступал к созданию своих произведений. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности» {<Анненков П.В.> Пушкин в Александровскую эпоху. С. 211.}. «Только в искусстве, – говорит он же в другом месте, – находил Пушкин благотворное разрешение противоречий собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собою и сознавал себя в высоком нравственном значении» {<Анненков П.В.> Материалы для биографии Пушкина. 2-е изд. <СПб., 1873.> С. 179.}.

О таком действии творчества на его душу сам Пушкин рассказывает в черновых набросках, служащих продолжением «Трех сосен»:

Я был ожесточен…
И бурные кипели в сердце чувства,
И ненависть, и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Прощение святое осенило.

Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня…

V

Ницше говорит: «Что кто-нибудь представляет из себя по существу, – начинает обнаруживаться, когда его талант убывает, – когда человек перестает показывать, что он может. Талант – тоже наряд; наряд – тоже прикрытие». Если мы представим себе других наших крупных художников лишенными таланта, то у большинства из них останется и еще что-то, что выделяло бы их из обывательской толпы. Мы легко можем представить себе Лермонтова, родись он лет на десять раньше, неслучайным декабристом, Гоголя можем представить себе фанатическим монахом-аскетом, Толстого – религиозным сектантом вроде Сютаева, Достоевского – старцем-схимником типа Амвросия. Но что являл бы из себя в таком случае Пушкин? Всего вероятнее, вот что:

Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей…

Для большинства других наших художников искусство не было ценностью, стоящею неизмеримо выше всяких других ценностей. Толстой и Гоголь отрекались под конец жизни от художества во имя высших для них религиозных и моральных ценностей; мы легко можем представить себе, что за настоящую, детски чистую веру в бога Достоевский с радостью отказался бы от писательства. Глеб Успенский свой чудесный талант размотал на публицистику, Короленко из-за общественности остался великим писателем без великих произведений, Некрасов вправе был сказать о себе:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Мне поэзия мешала быть бойцом.

Но Пушкин – Пушкин своего права художественного творчества не отдал бы ни за что – ни за бога, ни за народ, ни за какие блага мира.

Но если подлинная жизнь, подлинное горение души

возможно только в творчестве, в поэзии, в уходе в мир светлой мечты, то какое же другое может быть отношение к реальной жизни, как не пренебрежительное и глубоко равнодушное?

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии. Но нет, тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

Это пренебрежение к «низкой жизни», в понимании Пушкина, лежит в самом существе художника. И этим объясняется «двупланность» Пушкина, его двойственность, поразительное несовпадение его творчества с его жизнью и, вопреки мнению Ивана Аксакова, полное отсутствие всякого трагизма от этого несовпадения. Вся жизнь, живая жизнь, – где-то там, глубоко внизу, и как смеет она требовать какого-то вмешательства в себя от этих головокружительных высот искусства?

Моцарт у Пушкина говорит: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». И чувствуется, что и для самого Пушкина это – несомненнейшая аксиома. Но почему гений и злодейство несовместимы? Будем даже говорить об одних художественных гениях, которых, конечно, тут преимущественно имеет в виду Пушкин. Почему художественный гений не может совершить злодейства? Мы легко можем представить себе злодеями Архилоха, например, или Бенвенуто Челлини. Легенда настойчиво приписывает Достоевскому одно мрачное злодейство, и мы никак не можем сказать, чтоб оно совершенно было несовместимо с его гением. Почему же Пушкин так непоколебимо уверен, что гений и злодейство несовместимы? Не потому, как обычно толкуют, что гений обязательно соединяется в человеке с нравственной высотой, – это совершенно неверно, и гений нередко бывает в жизни форменным дрянцом. Несовместимы для Пушкина две указанные стихии потому, что злодейство тоже есть жизненное творчество.

М.П. Погодин приводит в своем дневнике такие слова Пушкина: «Разве на злодеях нет печати силы, воли, крепости, которые отличают их от обыкновенных преступников?» {Пушкин и его современники. XIX–XX. С. 92.} Вот в чем дело. На «пакости» (как Пушкин сам называл некоторые свои стихотворные выходки) – на пакости гений способен сколько угодно. Но на злодейство он не способен потому, что для этого потребна

энергия, внимание к жизни, вкладывание в нее своих сил, одним словом, забота о «нуждах низкой жизни». Но раз это так, то, может быть… гений и подвиг – тоже две вещи несовместные? Сальери не гений, потому что способен на злодейство. Но, может быть, и Рылеев не гений потому, что способен – на подвиг? Конечно.

Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, – полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Все житейские волнения – и корысти, и битвы, и злодейства, и подвиги – все это одинаково только подметание сора, до которого поэту нет и не может быть никакого дела.

Поэт тоже знает «волнение», но это волнение совсем другого рода:

И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье…

Пушкин пишет слепцу-поэту Козлову:

Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
О, милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им.
Чудесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь…

Такой «новый мир», полный «светлых привидений», непрерывно творит и сам Пушкин в своей поэзии. Необычайный, своеобразный мир. Все в нем как будто просто, обыкновенно – как будто наш обычный земной мир: весь реальный Пушкин тут, лирика такая автобиографическая, все его знакомые, друзья, возлюбленные, все местности, которые легко найти на географической карте. Все как будто то – и в то же время совсем не то. «Перед этими картинами жизни и природы бледна и жизнь, и природа», – замечает Белинский. И Гоголь говорит: «Не вошла туда нагишом растрепанная действительность… Чистота и безыскусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною».

Пушкин хватает жизнь, в творческом порыве выносит ее в другой план и там все – радость и скорбь, прозу и грязь – преображает в божественную красоту. И «вавилонская блудница» Керн превращается в «гения чистой красоты», лисица Филарет – в серафима, арфе которого внемлет поэт в священном ужасе – в подлиннейшем священном ужасе. И брюзгливое раздражение при виде молодой сосновой поросли преображается в светлое приветствование молодой жизни, идущей на смену старой. И вся темная, низменная жизнь с ее скукою, унынием и безнадежностью озаряется солнечным светом, и все становится одинаково прекрасным. «Мне грустно и легко; печаль моя светла». Самые безнадежные настроения начинают светиться этим светом, и вот люди начинают говорить о «солнечном жизнелюбии» Пушкина, о приятии им всех темных сторон жизни…

VI

Поэзия Пушкина – это поистине самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа. Чрезвычайно в этом отношении интересно наблюдение процесса пушкинского творчества. Поэт с жизненных низин, как по ступенькам, с каждой стадией своей работы поднимается все выше и выше на эти вершины благородства, целомудрия и ясности духа.

П.И. Бартенев пишет по поводу стихотворения Пушкина на смерть Наполеона (1821): «Можно смело утверждать, что нигде в Европе, ни тогда, ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего лучшего и благороднейшего. Надо припомнить, что Пушкину в этом случае предстояла особенная трудность. Кто не писал о Наполеоне, кто не клял его памяти?» {<Бартенев П.И.> Пушкин в южной России. 2-е изд. <М., 1914.> С. 88.} Изучение черновика этого стихотворения дает вот что. «В первоначальной редакции, – пишет П.О. Морозов, – еще обильно рассеяны укоризненные эпитеты: „губитель“, „преступник“, „страшилище вселенной“, „безумец“ и пр., так часто повторявшиеся в произведениях русских стихотворцев 10-х годов минувшего века; но тут же внесены уже и смягчающие поправки: „страшилище“ заменено „изгнанником“; „гордый“, „грозный“ ум обратился в „дивный“; наконец, укор развенчанной тени объявляется „безумным малодушием“: „Он пал, – умолкни, глас укора! Велик и падший великан“. С каждой новой строфой, с каждой новой поправкой риторическое осуждение уступает место примирению, и в окончательной редакции из всех порицательных выражений остаются только „надменный“ и „тиран“ да указанье на презрение Наполеона к человечеству» {Академич. изд. соч. Пушкина. <СПб., 1912.> Т. III. Примечания. С. 353.}.

И заканчивается стихотворение так:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень! Хвала!..
Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Еще более интересна история постепенного углубления и облагорожения темы в процессе творческой работы, которую мы наблюдаем в черновиках стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» {См.: Неизданный Пушкин. Изд-во «Атеней», 1922. С. 113; Творческая история / Под ред. Н.К. Пиксанова. М., 1927; Фрид Г.Н.

История романса Пушкина о бедном рыцаре. С. 92 и сл.}.

Первоначально это было длинное стихотворение, где рассказывалось о том, как рыцарь влюбился в изображение девы Марии и стал равнодушен ко всем женщинам, как перестал молиться отцу, сыну и святому духу и целые ночи проводил перед образом богоматери, как отправился в Палестину:

Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он, будто заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он.
Между тем, как он кончался,
Бес лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Утащить он в свой предел.
Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Своеобразная история полового извращения, известного под именем фетишизма, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического средневековья. И своеобразное освещение этой истории, выдержанное Пушкиным совершенно в духе того же средневековья. Такова была тема, и таково исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря все больше растет, светлеет, облагораживается, болезненные извращения отпадают, и в окончательной редакции перед нами – восторженный и смелый духом мечтатель, «полный чистою любовью, верный сладостной мечте».

В черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов мы иногда наталкиваемся на странные низины, на стоячие темные болотца, совершенно неожиданные для Пушкина

и говорящие, что первоначальные, так сказать, жизненные его настроения, соответствовавшие начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроений вполне упадочного характера. В одном черновом наброске, относящемся к 1823 году {Академич<еское> изд. соч. Пушкина. Т. III. Примеч. С. 353.}, поэт пишет:

Придет ужасный миг, – твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой…
Лампада бледная твой бледный труп осветит…
Коснусь я хладных ног, к себе (обняв) их на колени
Сложу и буду ждать… Чего?
Чтоб силою мечтанья моего
У ног твоих…

До жути странные, совершенно некрофильские настроения. И это не единичное место. В 1826 году Пушкин пишет монолог князя, идущего лунною ночью на свидание с русалкою, – может быть, первоначальный набросок «Русалки» {Там же. Т. IV. С. 221.}:

Дыханья нет из бледных уст – но сколь
Пронзительно сих влажных, синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья —
Томительно и сладко – в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается – тогда
Какой-то хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томленьем и любовью замирая,
И в этот миг я рад оставить жизнь —
Хочу стонать и пить ее лобзанья…

Совершенно бодлеровские настроения… И нет, конечно, никакого сомнения, что, не брось Пушкин этих первоначальных замыслов, возьмись он за их дальнейшую обработку – и не осталось бы следа от всего этого декадентства и перед нами были

бы стихотворения, полные обычной для Пушкина ясности духа и нетревожной целомудренности.

VII

Подлинная, глубокая и ясная жизнь – в этом мире светлой красоты, высокого душевного благородства и незатемняемого страстью сознания. И вдруг откуда-то далеко снизу, из того, другого плана, назойливые, требовательные вопросы:

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит, чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна.
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

К.Сомов. Пушкин

Как дико, как чуждо должны звучать эти вопросы для «сына небес», окруженного беспредельною, сверкающею стихией красоты, упоенно внимающего «хору светлых привидений».

Цель? Польза? При чем тут цель? Какой тут может быть разговор о пользе? «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до

вас?» «Чадам праха», лишенным счастья жить на высотах, этот светлый мир может только «волновать, мучить сердца», возмущать душу «бескрылым желаньем». Учить их? Давать им «смелые уроки»? Это совсем не дело поэта. А вот его дело: «глаголом жги сердца людей!» {См. выше: «Пушкин и польза искусства».}

Все это делает вполне понятным и заслуживающим полнейшего доверия столь часто встречающееся у Пушкина утверждение, что пишет он исключительно для самого себя.

На это скажут мне с улыбкою неверной:
«Смотрите, – вы поэт уклонный, лицемерный.
Вы нас морочите. Вам слава не нужна.
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете?» – Я? для себя! – «За что же
Печатаете вы?» – Для денег. – «Ах, мой боже!
Как стыдно!» – Почему ж?..

И это все время упорно твердит Пушкин. «Твой труд тебе награда, им ты дышишь, а плод его бросаешь ты толпе, рабыне суеты». «Ты царь. Живи один» и т. д., и т. д. Что поклонение, всеобщее признание, слава, всевозможные памятники, рукотворные и нерукотворные?

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена;
До гроба счастие отныне —
Мечтанья неземного сна.

Это, конечно, вовсе не значит, что Пушкин в жизни относился к славе и поклонению с полнейшим равнодушием, – он мог раздражаться на отрицательные о себе отзывы, мог самолюбиво замыкаться в себе, наблюдая всеобщее охлаждение читательской публики. Но все это происходило там, в низшем плане, в плане реальной жизни. В верхнем плане, в плане творчества, это был «смешной и суетный» вздор, на который и взгляда-то не хотелось бросить со своих высот.

Мир «светлых привидений», в котором живет поэт, как будто является отрицанием нашего низменного, земного мира. Однако он в то же время весь целиком коренится именно в этом нашем мире – совсем так же, как жизнь эллинских божеств.

Перед нами не какой-нибудь романтический потусторонний мир, обесценивающий нашу землю, как, например, у Лермонтова:

«И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Нет, это наш мир, земной мир, но только уярченный, просветленный, облегченный, – та гомеровская «легчайшая жизнь» – rheistebiote, – которою живут эллинские боги. Она-то грезится Пушкину, она властно постулируется его сознанием как необходимая принадлежность самого бессмертия.

Конечно, дух бессмертен мой!
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенства бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя?
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я…
Любви! Но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой, —
Что без нее душа моя?

(1822 г.)

И там, за могилой, поэту нужен этот, земной мир, – и вот даже до каких мелочей: «Мой дух к Юрзуфу прилетит». И Пушкин заключает это стихотворение, в черновом своем виде гораздо более глубокое и интимное, чем в напечатанном при его жизни отрывке, – так:

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы!
Зачем не верить вам, поэты?

Поэт пристально вглядывается в жизнь и сквозь грубую ее оболочку как будто прозревает утонченную ее сущность, лишенную «несовершенств бытия». Есть у Пушкина черновой набросок: «Лишь розы увядают, амвросией дыша…» Основной

черновик набросан Пушкиным на французском языке, и он гораздо тоньше и художественнее, чем последующий русский набросок. Беспорядочно написаны стихи и отдельные слова (набросок опубликован в академическом издании сочинений Пушкина, т. IV, примечания, с. 284). Привожу их в размещении Брюсова (Соч. Пушкина под ред. Брюсова, Гос. изд. 1920, с. 255) с поправками и дополнениями по тексту академического издания:

Quand la rose soudain a terminésa vie
Au front du convive, au banquet…
Soudaincedétachant de sa tige natale,
Comme un légersoupir, sadouce вте s'exhale
Dans les aires… voltige…
Aux rives d'Elyséesesmânesparfumes
Fleurissent…
Charment du doux
Lŭthŭ les bords inanimŭs…

(Когда роза внезапно оканчивает свою жизнь на челе гостя, на пиршестве… Внезапно, отделяясь от родного стебля, как легкий вздох, испаряется ее нежная душа… Порхает в воздухе… На берегах Элисия ее благоуханная тень цветет… чарует безжизненные берега Леты…)

Своеобразный мир «светлых привидений», светящихся «теней», включающий в себе тончайший экстракт жизни. М.О. Гершензон в своей статье «Тень Пушкина» указывает, как часто употребляет Пушкин это слово «тень», какой реальный, объективный смысл он вкладывает в это слово. Гершензон думает, что Пушкин, умозаключая из данных опыта, отрицал загробную жизнь, но, умозаключая из потребностей воли, признавал ее – и именно в виде существования «тени», тесно связанной с существом нашей земной жизни. Эти выводы Гершензона недоказательны и совершенно произвольны. У нас нет решительно никаких данных, чтобы утверждать что-нибудь о подлинной вере Пушкина в его «тени». Однако пускай нет веры в их реальность. Творческим сознанием поэта они все время ощущаются, перед глазами поэта все время – эта просветленная, невыразимо прекрасная жизнь,

Где чистый пламень сожигает
Несовершенство бытия,

такая, как будто наша, земная, и в то же время так непохожая

на темную нашу жизнь.

И что должен был испытывать поэт, спускаясь с этих «таинственных вершин» в низины реальной жизни, наблюдая себя и всех кругом в их отталкивающей, темной конкретности?

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью…

В этом стихотворении «Воспоминание» обычно видят какой-то «покаянный псалом», выражение морального какого-то раскаяния. Но это совсем не так. Стихи эти – тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то проступок с неба на темную землю и рвущегося мечтой к лучезарной своей родине.

VIII

В этом верхнем плане, в этом мире «светлых привидений», творимом для себя художником, все – благо, все – красота и свет. И чем больше в нем переживается разнообразнейших чувств, тем этот мир разнообразнее, многоцветнее. Любимое название Пушкина в критических статьях было: Протей – мифическое божество, каждую минуту принимавшее новый вид, совсем непохожий на прежний. И шевелится вопрос: да случайность ли это, что мы до сих пор не можем найти у Пушкина центра, основного нерва его жизнеотношения – того, что Чехов называет «богом живого человека»? Случайность ли, что каждый исследователь может найти у Пушкина решительно все, чего ему хочется? Был ли у Пушкина этот центр?

Куда ж нам плыть? Какие берега
Мы посетим? Египет колоссальный,
Скалы Шотландии иль вечные снега?

Не все ли равно? В том, верхнем, плане все чувства, все переживания одинаково светозарны и одинаково приемлемы для души. Повторять ли умиленно с отцами-пустынниками и женами непорочными православную молитву Ефрема Сирина, метаться ли с протестантским «Странником» в неизбывном ужасе перед своею греховностью, созерцать ли с Данте в католическом аду муки грешников, увенчиваться ли розами на эллинском пиру вместе с Ксенофаном, какая разница? Все одинаково ярко и сильно переживается творческою душою поэта в том, верхнем, творческом плане. Но переживалось ли это вправду и человеком в нашем, жизненном, плане?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

И что тут вообще не минутно? Заметим, кстати, что сам Пушкин непременным признаком истинного вдохновения считал «движение минутного, вольного чувства» (рецензия на Делорма, 1831 г.). И в «Египетских ночах» он рассказывает: «Пылкие стихи – выражение мгновенного чувства – стройно вылетали из уст его».

Настойчиво и страстно Пушкин всю жизнь отстаивал свободу поэта:

… ветру и орлу,
И сердцу девы нет закона.
Гордись! Таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет.
Глупец кричит: «куда? куда?
Дорога здесь!»
Но ты не слышишь.
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд —
Тебе награда, им ты дышишь…

Мы теперь как будто давно уже отказались от роли этих глупцов, указывающих дорогу художнику; мы не так узки, чтобы непременно требовать от поэта непосредственного гражданского служения. Но мы не в состоянии себе представить, как можно не требовать от художника выявления его мирочувствования, выявления правды жизни, которою он живет. А Пушкин, может быть, и на эти наши требования ответит: «Подите прочь! Я поэт, и для меня нет закона. Предоставьте мне отзываться на впечатления жизни самым фантастическим образом, как того требует мой своенравный гений, и не ждите от меня какой-то правды жизни. Может быть, ее у меня совсем нет, а может быть, и есть, да не про вас!»

Моя точка зрения на творчество Пушкина в некоторых существенных пунктах совпадает со взглядом на его творчество Белинского в его «пушкинских статьях». Белинский пишет: «Пафос, разлитый в полноте творческой деятельности поэта, есть ключ к его личности и к его поэзии. Первой задачей критика должна быть разгадка, в чем состоит пафос произведений поэта». И пафос пушкинской поэзии Белинский определяет так: «Пушкин созерцал природу и действительность под особенным углом зрения, и этот угол был исключительно поэтический… Он не знал мук блаженства, какие бывают последствием страстно-деятельного (а не только созерцательного) увлечения живой, могучей мысли, в жертву которой приносится и жизнь, и талант. В истории, как и в природе, он видел только мотивы для своих творческих концепций… Чем совершеннее становился Пушкин как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний… Пафос его поэзии был чисто артистический, художнический… Пушкин был по преимуществу поэт-художник и больше ничем не мог быть

по своей натуре» (пятая статья).

Ницше в своей книге «О происхождении трагедии» вот что говорит о жизнечувствовании древних эллинов. Древний эллин, по мнению Ницше, всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия, ему всегда была близка страшная мудрость о преимуществе небытия перед бытием. Как согласуется светлый мир олимпийских божеств с этою зловещею мудростью? Так же, как восхитительные видения истязуемого мученика – с его страданиями. Чтобы вообще быть в состоянии жить, эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художественным миром – лучезарными призраками олимпийцев. Та «гармония» древнего эллина, на которую мы смотрим с такою завистью, вовсе не была простою цельностью и уравновешенностью духа. Гармония гомеровского эллина обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, она – цветок, выросший из мрачной пропасти.

Ницшевское истолкование мирочувствования древнего эллина глубоко неверно. Силою, обусловливавшею приятие жизни и жизнерадостность древнего (дотрагического) эллина, была не сила иллюзии, не сила художественного творчества, а сила жизни (подробно об этом см. мою книгу: «Аполлон и Дионис. О Ницше», «Живая жизнь», часть вторая). Но ницшевское изображение своеобразного процесса художественного «приятия жизни», симулирующего здоровую жизнерадостность и бодрость духа, удивительно приложимо в отношении к Пушкину. У Пушкина мы наблюдаем не жадную влюбленность в грубую, реальную живую жизнь, как у Гомера и вообще дотрагического эллина, как у Гете, Льва Толстого, Рабиндраната Тагора, Уолта Уитмена. Пушкин не умел жить среди живой жизни и любить ее, он от нее спасался в мир «светлых привидений». Гармония Пушкина именно обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, поэзия его именно была цветком, выросшим из мрачной пропасти {Очень интересен и своеобразен взгляд на Пушкина недавно умершего Ф.К. Сологуба. Незадолго до смерти, 8 сентября 1927 г., он писал мне о Пушкине: «Быть может, нам еще рано разделываться с блистательным, но лживым гением, лукаво совершившим большое, но пародийное дело: попытка создать легенду об императорско-помещичьей России, которую он сам ненавидел, и покрыть лживым блеском природу и жизнь, которые были для него безнадежно пусты, но о которых он находил такие превосходные слова».}.

Такое понимание поэзии Пушкина, может быть, окажется более согласующимся и с социальными корнями его творчества.

Михаил Сафонов
Пуговица Дантеса, или Неизвестная дуэль

28 февраля 1837 года Наталия Николаевна Пушкина неожиданно приобрела европейскую известность. В этот день парижская газета «Журналь де Деба» опубликовала сенсационное сообщение из Петербурга: знаменитый русский поэт Пушкин убит на дуэли своим свояком, французским офицером Дантесом. «Дуэль состоялась на пистолетах. Господин Пушкин, смертельно раненный в грудь, тем не менее прожил еще два дня. Его противник также был тяжело ранен». В этот же день то же сообщение опубликовал «Курьер Франсе». 1 марта сообщение было перепечатано в «Газет де Франс» и «Курьер де Театр». В то время парижский «Журнал де Деба» играл на европейском континенте ту же роль, что сегодня играет «Нью-Йорк Таймс» во всем мире. 5 марта немецкая «Альгемайне Цайтунг» сообщила своим читателям о дуэли, после которой Пушкин «прожил еще два дня с пулею в груди», и петербургская скандальная хроника начала свое шествие по европейским газетам. Прессу прежде всего занимали сенсационная обстановка гибели русского поэта, сама дуэль и поводы, приведшие к ней. Однако подлинная сенсация дотошным парижским журналистам осталась неведома. Не знали о ней и мы почти 160 лет.

В среду 27 января 1837 года около шести часов вечера Наталья Николаевна Пушкина вышла из своей комнаты в переднюю, и тут ей стало дурно: камердинер, взяв в охапку, нес ее мужа, истекающего кровью. Карл Данзас, которого она давно знала как лицейского приятеля Пушкина, объяснил ей, насколько мог спокойнее, что ее муж только что дрался на дуэли с Дантесом. Пушкин, хотя и ранен, но очень легко. Секундант поэта сказал неправду: рана была смертельной. В 2 часа 45 минут пополудни 29 января Пушкина не стало.

А. Наумов. Последняя дуэль Пушкина

Как умершего насильственной смертью Пушкина вскрыли. Был ли составлен официальный акт вскрытия, осталось неизвестным. До нас дошла лишь записка врача Владимира Даля «Вскрытие тела А.С. Пушкина». Она гласит: «По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей.

В брюшной полости нашлось не менее фунта запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, и наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена.

По направлению пули, надобно заключить, что убитый стоял боком, в полоборота и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней передней оконечности чресельной или подвздошной кости (ossisiliacidextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволяли продолжать подробнейших розысканий.

Относительно причины смерти – надобно заметить, что здесь воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было ни сывороточных или конечных излияний, ни прирощений, а и того

менее общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной; а наконец, и сильное поражение оконечностей становой жилы (caudaeequinae) при раздроблени крестцовой кости».

29 января командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант К.И. Бистром приказал судить Дантеса военным судом. О своем распоряжении Бистром в тот же день рапортовал Николаю I. Военный министр А.И. Чернышев доложил рапорт командующего царю. Впрочем, о дуэли царь уже знал вечером 27 января. Императрица записала в этот день в дневнике: «Н. сказал о дуэли между Пушкиным и Дантесом, бросило в дрожь». Но официальное известие о происшедшем Николай получил только 29 января от военного министра. Царь в тот же день распорядился передать военному суду не только Дантеса, но и Пушкина, а также всех лиц, причастных к дуэли, исключая иностранных подданных, о причастности которых к поединку должна была быть составлена особая записка. Но Пушкин умер, секундант же Дантеса Оливье д'Аршиак, атташе французского посольства за два дня до начала работы комиссии военного суда 2 февраля поспешил отбыть в Париж. Поэтому перед судом предстали только Дантес и Данзас.

Характерно, что в подлинном военно-судном деле о дуэли Пушкина с Дантесом-Геккерном нет никаких медицинских документов о характере ранения Пушкина и причинах его смерти. В первых же страницах дела, где приведены мнения гвардейского генералитета, речь идет во ранении Пушкина В ГРУДЬ (разрядка наша. – *Авт.*). Как мы сейчас увидим, знаменитые лермонтовские строки «с свинцом в груди», не были простой поэтической метафорой, а отражали ходившие в обществе слухи о подробностях смертельного поединка на Черной речке. Недаром Тютчев вопрошал: «Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал?» В то же время в ряде документов дела речь идет о ранении в бок. Очевидно, члены военного суда при Конном полку имели смутное представление о том, куда именно был ранен убитый, и это заблуждение судей едва ли можно объяснить их неведением или просто обыкновенным равнодушием к загубленной жизни гения. Неосведомленность суда была следствием того, что секунданты намеренно затемняли вопрос о характере ранения поэта и совершенно сознательно стремились создать неверное представление, куда целились противники.

Происхождение этих противоречивых сведений таково. В рапорте Бистрома царю о предании Дантеса суду, о ранении Пушкина не упоминается вовсе, говорится лишь о том, что во

время дуэли Геккерн был ранен. Заседаниям комиссии военного суда предшествовало предварительное дознание. Его производил полковник Галахов. Со слов Дантеса он записал, что тот действительно дрался с Пушкиным на пистолетах, «ранил его в правый бок и сам был ранен в правую руку». Данзас же только подтвердил Галахову факт дуэли, о характере же полученных противниками ранений секундант Пушкина распространяться не стал. 6 февраля на первом допросе комиссии Дантесу был задан вопрос, где и когда происходила дуэль и не может ли он в подтверждении своих слов сослаться на свидетелей или на какие-либо документы, разъясняющие дело. Дантес, показания которого в ходе всего дела были тенденциозными, неискренними и откровенно лживыми, но в то же время очень скупыми, взвешенными и осторожными, ссылался лишь на те документы, что обеляли его. Относительно дуэли заявил, что «реляцию» о поединке его секундант д'Аршиак перед своим отъездом из Петербурга вручил камергеру князю П.А. Вяземскому. Примечательно, Дантес, не желавший вмешивать в процесс никого из посторонних и даже предлагавший Данзасу скрыть его участие в дуэли, от чего друг Пушкина с гордостью отказался, выдвинул на авансцену третье лицо, в поединке не участвовшее, и для чего? Для того, чтобы сообщить суду о подробностях дуэли, то есть передать то, о чем должен был рассказать сам Дантес как непосредственный участник. Более того, «реляция» – это по сути дела первый документ о дуэли, которым располагала комиссия, военный суд, и была создана, надо думать, специально на этот случай, для комиссии. Оглашение этого документа Дантес считал настолько выгодным для себя, что поспешил сослаться на него и «вмешать» в дело третье лицо – Петра Вяземского. Дантес хорошо знал, что со стороны Вяземского никаких неприятных для него разоблачений не последует. И конечно же не ошибся.

8 февраля Вяземский был призван в комиссию. Ему предложили целый комплекс вопросов, касающихся дуэли и просили дать объяснения сколь возможно подробнее, представить документы, относящиеся к делу, если такие имеются у него. Однако Вяземский не только не представил никаких документов (хотя ими в тот момент располагал, что выяснилось впоследствии в ходе расследования), но от всех вопросов отговорился полным незнанием. Создается впечатление, что главная цель Вяземского состояла в оглашении «реляции», которая, видимо, именно для этой цели и была создана. На вопрос о происхождении «реляции», князь ответил, что никакой «реляции», то есть официального документа, у него нет, но он располагает письмом д'Аршиака с описанием поединка. «Не знав предварительно ничего о дуэли, –

показал Вяземский, – про которую в первый раз услышал я вместе с известием, что Пушкин смертельно ранен, я при первой встрече моей с д'Аршиаком просил его рассказать о том, что было». Нетрудно в этих «чистосердечных» показаниях Вяземского увидеть стремление князя «обосновать» как бы случайное, бытовое происхождение частного письма. На самом деле подробные сведения о поединке Вяземский получил, конечно же, не от д'Аршиака, а от Данзаса вечером 27 января на Мойке, в квартире поэта, где князь встретил секунданта поэта, не покидавшего дом умирающего. «На сие г. д'Аршиак вызвался изложить в письме все случившееся, прося меня при этом, – продолжил Вяземский, – показать письмо г.

Данзасу для взаимной проверки и засвидетельствования подробностей дуэли». Однако письмо д'Аршиака Вяземский получил уже после отъезда французского атташе за границу, поэтому князь не мог, по его словам, прочитать его вместе с обоими свидетелями, чтобы получить в его глазах ту достоверность, которую он желал иметь. Вследствие этого Вяземский отдал письмо д'Аршиака Данзасу, и тот возвратил князю этот документ вместе с письмом от себя. Так Вяземский объяснил как бы случайное создание письменной версии дуэли, версии, достоверность которой почти официально была засвидетельствована обоими секундантами в специально подготовленных на этот случай документами. Эти-то документы и были предъявлены следствию Вяземским, как бы совершенно посторонним, а значит вроде бы абсолютно объективным лицом. (Немаловажно отметить, что в последующие дни Вяземский создаст и письменную версию не только самого поединка, но всей дуэльной истории, подберет документы, ее как будто подтверждающие, версию, увы, весьма далекую от того, что имело место в обыденной действительности). 10 февраля «реляция» д'Аршиака-Данзаса была предъявлена Дантесу и тот еще раз подтвердил, что в ней произошедшее описано «по всей справедливости».

Читая письма д'Аршиака, нетрудно заметить, что в этом описании ни слова не говорится о том, куда был ранен Пушкин. Более того, в письме Данзаса чувствуется намерение писавшего не только затемнить этот предмет и создать у читателя (что, как увидим ниже, и удалось) неверное представление.

«Князь! Вы желали знать подробности грустного происшествия, которого г. Данзас и я были свидетелями. Я сообщаю их вам, и прошу вас передать это письмо г. Данзасу для его прочтения и удостоверения подписью, – писал д'Аршиак Вяземскому 1 февраля. – Было половина пятого, когда мы

прибыли на назначенное место. Сильный ветер, дувший в это время, заставил нас искать убежища в небольшой еловой роще. Так как глубокий снег мог мешать противникам, то надобно было очистить место на двадцать шагов расстояния, по обоим концам которого они были поставлены. Барьер означили двумя шинелями; каждый из противников взял по пистолету. Полковник Данзас подал сигнал, поднял шляпу. Пушкин в ту же минуту был уже у барьера; барон Геккерн сделал к нему четыре из пяти шагов. Оба противника начали целить; спустя несколько секунд раздался выстрел. Пушкин был ранен. Сказав об этом, он упал на шинель, означавшую барьер, лицом к земле и остался недвижим. Секунданты подошли; он приподнялся и, сидя, сказал: „Постойте!“ Пистолет, который он держал в руке, был весь в снегу; он спросил другой. Я хотел воспротивиться тому, но барон Георг Геккерн остановил меня знаком. Пушкин, опираясь левой рукой на землю, начал целить; рука его не дрожала. Раздался выстрел. Барон Геккерн, стоявший неподвижно после своего выстрела, упал, в свою очередь раненный.

Рана Пушкина была слишком опасна для продолжения дела, и оно кончилось. Сделав выстрел, он упал и два раза терял сознание; после нескольких минут забытья он наконец пришел в себя и уже более не лишался чувств. Положенный в тряские сани, он на расстоянии полуверсты самой скверной дороги сильно страдал, но не жаловался.

Барон Геккерн, поддерживаемый мною, дошел до своих саней, где дожидался, пока не тронулись сани его противника, и я мог сопутствовать ему до Петербурга. В продолжении всего дела обе стороны были спокойны – исполнены достоинства.

Примите, князь, уверение в моем высоком уважении».

Что касается Данзаса, то, по сути дела подтвердил, изложенное д’Аршиаком, отметив лишь некоторые незначительные неверности в его рассказе. Так, в частности, Данзас несколько удлинил фразу раненного Пушкина: «Постойте! Я чувствую в себе еще столько силы, чтобы выстрелить». Данзас отметил, что не мог оспаривать обмен пистолета и не делал этого в действительности. Что же касается ранения Дантеса, то Данзас пояснил: «Противники шли друг на друга грудью. Когда Пушкин упал, тогда Геккерн (Дантес) сделал движение, чтобы подойти к нему; после же слов Пушкина, что он хотел стрелять, он возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь свою правой рукою. По всем другим обстоятельствам я свидетельствую справедливость показаний г. д’Аршиака».

Примечательна фраза Данзаса: «Противники шли друг на друга грудью». Именно она создавала ложное впечатление у

читателя «реляции», что выстреливший первым Дантес ранил Пушкина в грудь. Вместе с тем получалось, что и раненый Пушкин стрелял противнику в грудь, ибо Данзас написал: Дантес, «стал боком и прикрыл грудь свою правою рукою». Поскольку же Дантес оказался ранен в руку, то стало быть, Пушкин и метил в грудь противника. Однако, как мы увидим ниже, это совсем не так.

Характерно, что когда материалы дела были представлены гвардейскому начальству и генералы подали свои мнения, то командующий гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин именно так и понял ситуацию: «камер-юнкер Пушкин получил смертельную рану в грудь, от которой он умер, Геккерн же слабо ранен в руку». Точно так же дело представлялось и командиру гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту Кнорингу. 19 февраля комиссия военного суда закончила расследование. На основе собранных материалов была подготовлена выписка из дела. В ней дуэль была описана на основе «реляции» д'Аршиака и Данзаса, а следовательно, без указания раны Пушкина. Та же картина была представлена и в сентенции суда. 11 марта Бистром представил все материалы дела в Аудиторский департамент Военного министерства. Передавая дело, Бистром отметил, что при ревизии его в штабе отдельного гвардейского корпуса был замечен целый ряд «упущений». В частности, Бистром указал на то, что «не взято надлежащего засвидетельствования о причине смерти Пушкина». Указание Бистрома особенно интересно, если принять во внимание, что из всех генералов он подал самое резкое мнение, осуждающее Дантеса. Бистром находил виновным Геккерна в том, что он вызвал Пушкина на дуэль, нанес ему смертельную рану, а прежде раздражал щекотливость Пушкина как мужа, присылая его жене театральные билеты и книги вместе с записочками сомнительного содержания. Генерал справедливо полагал, что в отношении Дантеса нет никаких «заслуживающих снисхождения обстоятельств». Поскольку дуэли были строго запрещены, «оскорбительные выражения, помещенные в письме Пушкина к приемному отцу Дантеса, не давали права поручику на противозаконное самоуправие». Бистром особо подчеркивал, что в распоряжении суда, не было показаний самого Пушкина, чрезвычайная же дерзость пушкинского письма, спровоцировавшего дуэль, «не могла быть написана без чрезвычайной причины», которая очень слабо объясняется признанием самого Дантеса в том, что он писал жене убитого щекотливые письма. Немаловажно отметить, что Бистром каким-то образом был связан с родом Гончаровых. Во всяком случае,

когда уже после смерти Пушкина, в феврале 1837 года Дантес потребовал, чтобы братья его жены Екатерины Гончаровой юридически оформили причитающуюся часть родового наследства, то был составлен соответствующий документ и на нем в качестве свидетеля со стороны Гончаровых подписался К.И. Бистром. Видимо, командующий отдельным гвардейским корпусом лучше других членов суда и генералов, рассматривавших это дело, мог быть осведомлен об обстоятельствах дуэли Пушкина и Дантеса.

Мнение Бистрома приняли во внимание в генерал-аудиториате. Потому в своем определении, представленном военному министру А.И. Чернышеву 17 марта, члены этого органа внесли определенные поправки в описание поединка. В аудиторском определении говорилось, что «первый выстрелил Геккерн и ранил Пушкина в правый бок». «Пушкин ранил Геккерна в руку». Как видим, здесь воскресла формула, взятая из предварительного дознания полковника Галахова. Именно в таком виде она фигурировала в докладе военного министра Николаю I. 18 марта царь утвердил доклад, согласно которому Пушкин был ранен в правый бок.

Между тем, еще 28 января, когда Пушкин был еще жив, старший врач полиции П.Н. Юденич, доносивший о происшествиях в столице в Медицинский департамент Министерства внутренних дел, писал, что Пушкин «ранен пулею в нижнюю часть брюха», «Дантес – в правую руку навылет и получил контузию в брюхо».

В 1856 году из Сибири возвращался после амнистии декабрист И.И. Пущин. В Нижнем Новгороде он встретился с В.И. Далем, тем самым, что составил записку о вскрытии тела Пушкина. Даль показал лицейскому другу поэта скорбную реликвию – сюртук, в котором стрелялся Пушкин. На сюртуке против правого паха было небольшое, с ноготок, отверстие от пули, унесшей жизнь Александра Сергеевича. Да и описание Даля не оставляет сомнения в том, куда стрелял Дантес.

Вызывают улыбку (если только она уместна в таком печальном деле) неуклюжие попытки современных врачей «поднять» пулевое ранение Пушкина как можно выше паха, поставить под сомнение описание доктора Даля как недостаточно компетентное. Но как же быть тогда с пулевым отверстием в сюртуке, которое точно указывает, как кажется, куда вошла пуля.

Оказывается, нет, не указывает. Так доктор Б.М. Шубин, издавший в 1983 году в Москве книгу «История одной болезни», утверждал, что Даль не учел, что целясь на близком расстоянии в Дантеса, который был ростом выше, Пушкин, видите ли, «поднял

правую руку, а вместе с ней, естественно, полетела кверху и правая пола сюртука. Сопоставление пулевого отверстия на сюртуке и раны на теле позволяет определить, как высоко была поднята рука Пушкина, и предположить, что он целил в голову своего противника». Вполне возможно, что доктор Б.М. Шубин и носил такие костюмы, у которых полы, прикрывающие пах, приподнятием руки вверх оказывались чуть ли не на груди. Ведь было это в советское время. (Вспомним хотя бы незабвенного Аркадия Райкина: «Ребята, кто шил этот костюм?») Но только в XIX веке сюртуки шили так, что надевший его мог поднимать руку вверх, не опасаясь оголить пах. Что же касается того, что Пушкин целился в голову Дантеса, то это особый разговор.

Как уже говорилось выше, оба противника дрались на расстоянии двадцати шагов. Каждый дуэлянт мог сделать пять шагов до барьеров, разделенных десятью шагами. Пушкин в момент выстрела Дантеса находился у своего барьера. Дантес же не дошел одного шага до своего. Расстояние, с которого противники произвели свои выстрелы, составляло всего одиннадцать шагов. Искусство Пушкина в стрельбе хорошо известно. Гораздо менее известно то, что и Дантес был метким стрелком (одним из его увлечений была охота). Пожалуй, даже профан с одиннадцати шагов мог попасть в своего противника, примерно в то место, куда целился. Что же говорить об искусном стрелке, даже охотнике? Если даже принять во внимание, что Дантес нервничал (хотя никаких свидетельств на этот счет нет), сделать поправку на сильный ветер, все равно трудно не признать: Дантес намеренно стрелял в пах Пушкина.

Куда же целился Пушкин, смертельно раненный в нижнюю часть живота? В голову? Когда комиссия военного суда начала заседать, к раненному Дантесу отправили штаб-лекаря гвардейского кавалерийского корпуса Стефановича, чтобы он произвел освидетельствование подсудимого, и ответил на вопрос, может ли тот давать показания. «Геккерн имеет пулевую проницательную рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста, – засвидетельствовал лекарь. – Вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость, более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Больной руку носит на повязке и, кроме боли в раненном месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вздыхании, хотя наружных знаков контузии не замечено».

В письме о поединке Вяземского к Денису Давыдову герою-партизану 1812 года есть одна очень важная подробность, объясняющая, почему Дантес отделался только легкой контузией: пуля «пробила мясо, ударила в пуговицу панталон, на которую надеты были помочи, и уже ослабленной отскочила в грудь».

Указание Вяземского помогает нам понять очень многое. Пуговица, на которую надевались подтяжки, естественно, располагалась в районе пояса панталон. В какой же позе должен был стоять Дантес, если внешняя сторона его правой руки с пистолетом, прикрывающим грудь, на четыре поперечных пальца ниже локтя находилась на уровне пуговицы панталон? Читатель, мысленно представь эту нелепую позу!

Нет, вовсе не грудь прикрывал Дантес пистолетом. Если это правая рука в месте ранения находилась на уровне пояса, то пистолет должен был быть не поднят, а, наоборот, опущен. Значит, Дантес прикрывал оружием свой пах. Почему же рука Дантеса оказалась именно здесь? Видимо, потому, что он следил, куда был направлен ствол пистолета Пушкина. Или же Дантес ожидал от своего раненого противника выстрела в то же место, в которое он сам произвел свой выстрел.

Теперь становится понятно, почему секунданты всячески затемняли вопрос о ране Пушкина, зачем понадобилось сочинять заранее «реляцию» о дуэли для комиссии военного суда. Интересно отметить и то, что во всех рассказах о дуэли, которые с легкой руки Вяземского разошлись в публику, нет никаких упоминаний о том, куда был ранен поэт. Конечно, такого рода умолчания не были вызваны естественной человеческой деликатностью, то есть нежеланием посвящать посторонних, если так можно выразиться, в физиологию смерти Пушкина. Не случайно, то же обстоятельство скрывали и друзья Дантеса, которым деликатность по отношению к русскому гению была абсолютно чужда. Дело заключалось в том, что, если противники сознательно стреляли друг другу в пах, то у них, очевидно, были для этого особые причины. В случае же огласки сразу же вставал бы вопрос об этих причинах, а такой вопрос придавал бы дуэли весьма щекотливый характер. Неужели защищая честь жены или собственное достоинство, как утверждает созданная Вяземским легенда, необходимо стрелять в пах противнику? Какие же слова могли быть произнесены дуэлянтами до и после того, как они обменялись выстрелами ниже пояса?

То, что секунданты не только Пушкина, но и Дантеса намеренно скрывали местоположение раны поэта в первые дни после поединка – это очень важный факт истории дуэли, никем из пушкинистов еще не отмеченный. Но возникает еще один

важнейший вопрос: если создатели «реляции» утаивали такой важный эпизод дуэли, насколько верно они описали и все остальные эпизоды этого трагического происшествия?

В 1963 году французский журнал «Рубан руж», издаваемый Орденом Почетного Легиона, кавалером которого впоследствии стал Дантес, опубликовал статью Флерио де Ланжля о дуэли с Пушкиным. Публикация сопровождалась рисунком, изображающим поединок. Противники с пистолетами в руках стоят друг против друга в белых рубашках (27 января при 15-градусном морозе!).

Не станет укорять художника (имя его в журнале не обозначено) за незнание российских реалий. Не должны бы мы признаться себе, что и сегодня, почти 160 лет спустя после этого поединка, мы знаем о нем не многим больше, чем французский художник? Во всяком случае, мы вправе подозревать, что «реляция» д'Аршиака и Данзаса о дуэли – это лишь составная часть легенды о гибели поэта.